

12 ¹⁰ 2552

unverf. 1/2

801-16
2036

Райнеръ Марія Рильке.

Замѣтки

Мальте-Лауридеръ Брине.

W I

7

Издательство И. Ф. Некрасова.
МОСКВА МСМХІІІ.

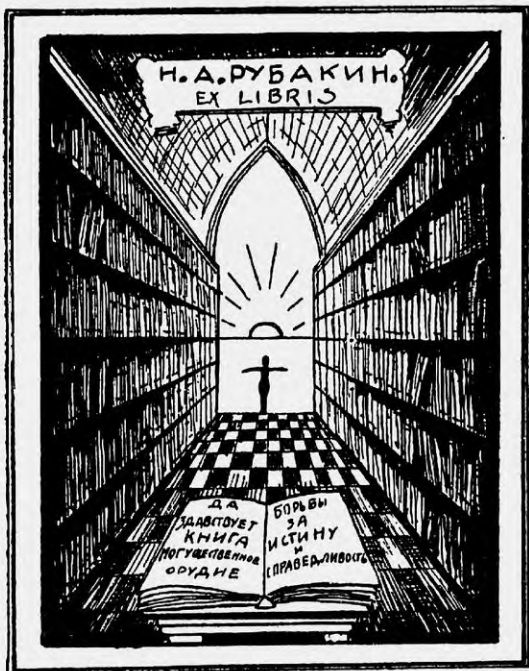
Р-2552

Райнеръ Марія Рильке

Замѣтки
Мальте-Лауридеръ Брине.

Переводъ Л. Горбуновой.

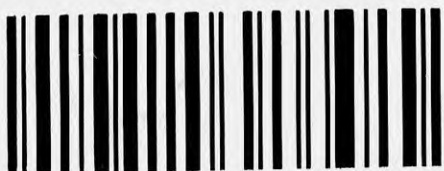
Издательство И. Ф. Некрасова.
МОСКВА МСМХІІІ.



Государственный
ордена Ленина
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина

74694-48

Печатано въ типографіи К. Ф. Некрасова въ Ярославль.



2015187340

11-го.сентября, rue Toullier.

Такъ, слѣдовательно, это сюда отовсюду стекаются люди, чтобы пожить, а мнѣ сдается, что скорѣе здѣсь недурно умирать Выходилъ и видѣлъ: больницы. Видѣлъ человѣка, который покачнулся и упалъ; его окружила толпа, и это избавило меня отъ остального. Видѣлъ беременную женщину. Она тяжело плелась вдоль высокой, теплой стѣны; по временамъ она ощупывала ее, точно желая удостовериться, что она еще тутъ. Да, тутъ. А за нею? Справился по своему плану: maison d'accouchement. Хорошо. Ей помогутъ разрѣшиться отъ бремени—это возможно. Далѣе по улицѣ St. Jacques громадное зданіе съ куполомъ. На планѣ значится Val-de-grâce, Hôpital militaire. Въ сущности, мнѣ нѣтъ надобности знать этого, но и вреда также.

ЗАМѢТКИ ВРИГГЕ.

Со всѣхъ сторонъ на улицу неслись запахи—пахло, насколько можно было разобрать, іодоформомъ, саломъ отъ pommes frites и боязнь. Лѣтомъ во всѣхъ городахъ вонь. Видѣлъ еще домъ—какой-то странный, точно слѣпой, съ бѣльмомъ; на планъ его нѣтъ, но надъ дверью можно довольно легко разобрать надпись: Asyle de nuit. У входа вывѣшены цѣны. Я прочелъ—недорого.

Что еще? Колясочку и въ ней ребенка: одутловатаго, зеленаго, съ ясно выступающей на лбу сыпью. Очевидно, она подживала и болѣе не причиняла боли. Ребенокъ спалъ съ открытымъ ртомъ, вдыхалъ іодоформъ, запахъ pommes frites и носящийся въ воздухѣ страхъ. Такъ вотъ что я видѣлъ. Главное, что всѣ были еще живы. Это главное.

И отчего я не могу перестать спать съ открытыми окнами? Черезъ мою комнату со звономъ бѣшено мчатся электрички. Надо мной проносятся автомобили; захлопывается какая-то дверь; гдѣ-то, дребезжа, летитъ книзу разбитое оконное стекло; я слышу, какъ крупные куски его хохочутъ, а мелкіе осколки хихикаютъ. Потомъ неожиданно раздастся какой-то глухой, какъ бы замкнутый въ себѣ, шумъ изнутри дома. Кто-то поднимается по лѣстницѣ. Идетъ, идетъ непрерывно. Онъ здѣсь,

давно уже здѣсь... проходить. И снова улица. Какая-то дѣвушка взвизгиваетъ: Ah, tais toi, je ne veux plus! Стремительно, въ страшномъ волненіи, приближается электричка, шумъ ея покрываетъ собою и крикъ и все остальное и—прочъ, прочъ... Кто-то зоветъ. Бѣгутъ люди, перегоняютъ другъ друга. Лааетъ собака. Какое облегченіе—собака! А на разсвѣтъ гдѣ-то даже поетъ пѣтухъ, и это вызываетъ во мнѣ чувство безграничнаго блаженства. И потомъ я вдругъ засыпаю.

Вотъ какіе здѣсь бываютъ шумы. Но есть нѣчто, что гораздо ужаснѣе—тишина. Мнѣ кажется, что на большихъ пожарахъ иногда наступаютъ такіа мгновенія наивысшаго напряженія: водяныя струи изсякаютъ, пожарные перестаютъ взбираться наверхъ, никто не трогается съ мѣста... Безъ звука въ высотѣ вырисовывается черный корпусъ, и безъ звука рушится высокая стѣна, изъ-за которой къ небу вздымается пламя. Всѣ стоятъ съ поднятыми плечами, запрокинутыми лицами, сморщивъ лбы надъ глазами, и ждутъ ужаснаго удара. Такова здѣсь тишина.

Я учусь видѣть. Не знаю почему, но теперь все, рѣшительно все, проникаетъ въ меня гораздо глуб-

же, чѣмъ прежде, а не остается тамъ, гдѣ раньше все кончалось. У меня оказывается внутренній міръ, о которомъ я ничего не зналъ. Все теперь уходитъ туда. И я не знаю, что творится въ немъ.

Сегодня я писалъ письмо, при чемъ вспомнилъ, что нахожусь здѣсь всего три недѣли. Три недѣли, проведенныя гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ, на примѣръ, въ деревнѣ, могли пройти какъ одинъ день; здѣсь же онъ тянутся словно года. Я не хочу больше и писемъ писать. Зачѣмъ мнѣ кому бы то ни было сообщать, что я постепенно измѣняюсь? Если я измѣняюсь, то уже не остаюсь тѣмъ, чѣмъ былъ, а если я иной, нежели раньше, то ясно, что у меня уже нѣтъ знакомыхъ. А чужимъ людямъ, людямъ, которые меня не знаютъ, я никоимъ образомъ писать не могу.

Говорилъ ли я уже, что учусь видѣть? Да, начинаю. Пока еще дѣло плохо подвигается. Но я хочу использовать свое время. На примѣръ, я никогда не отдавалъ себѣ отчета, какое множество на свѣтѣ разныхъ лицъ. Есть люди, которые цѣлыми годами носятъ одно и то же лицо, и оно, конечно, изнашивается, пачкается, протирается на складкахъ, растягивается, словно перчатка, надѣваемая въ дорогу. Это люди экономные, простые; они не мѣняютъ своего лица и даже не отдаютъ его

въ чистку. И такъ хорошо, говорятъ они; кто же можетъ доказать имъ противное? Но тогда является вопросъ, что же они дѣлаютъ съ остальными физиономіями—такъ какъ у нихъ ихъ нѣсколько? Сохраняютъ: пригодятся, молъ, дѣтямъ. Но случается, что ими пользуются ихъ псы, когда выходятъ со двора. Почему бы нѣтъ? Физиономія остается физиономіей.

Другіе же до жути быстро мѣняютъ свое обличье, надѣваютъ одно лицо за другимъ и всѣ ихъ изнашиваютъ. Сначала имъ кажется, что на ихъ вѣкъ хватитъ разныхъ лицъ, но уже къ сорока годамъ оказывается, что они истаскали послѣднее, остававшееся у нихъ въ запасѣ. Въ этомъ, понятно, есть своего рода трагизмъ. Они не привыкли беречь свои лица—послѣднее носили какихъ-нибудь восемь дней, послѣ чего оно стало тонкимъ, какъ бумага, на немъ появились протертые мѣста, и мало-по-малу показалась наружу подкладка — ихъ безличіе, и имъ остается только разгуливать по свѣту въ такомъ видѣ. Но женщина, та женщина! она вся, вся ушла въ себя, перегнувшись впередъ втиснула лицо въ свои руки. Это было на углу улицы Notre Dame des Champs. Я, какъ только замѣтилъ ее, такъ сейчасъ же, насколько возможно, замедлилъ шаги. Когда думаютъ бѣдняки, не слѣдуетъ мѣшать имъ. Кто знаетъ? А можетъ быть, они и додумаются до чего-нибудь.

Улица была слишкомъ пустынна, и безлюдіе ея скучало, вызывало шаги изъ-подъ ногъ моихъ и постукивало ими то тутъ, то тамъ, точно деревянными башмаками. Женщина вздрогнула и слишкомъ быстро, слишкомъ порывисто, оторвалась сама отъ себя, такъ что лицо ея осталось въ ладоняхъ. И я видѣлъ его въ нихъ, видѣлъ его выпуклость, вдавленную въ пальцы руки. Мнѣ стоило неимоверныхъ усилій не отрывать взгляда отъ этихъ рукъ и не глядѣть на то, что оторвалось отъ нихъ. Страшно видѣть изнанку лица, но еще гораздо страшнѣе голую, ободранную голову безъ лица.

Я боюсь. Противъ страха—разъ онъ появился—надо принять какія-нибудь мѣры. Было бы отвратительно заболѣть здѣсь; и если бы тогда пришло кому-нибудь въ голову свести меня въ Hôtel Dieu, то я обязательно умеръ бы въ немъ. ОТЕЛЬ этотъ пріятенъ и страшно посѣщаемъ. Почти нѣтъ возможности разсмотрѣть фасадъ собора со стороны Парижа, не подвергаясь опасности быть раздавленнымъ однимъ изъ экипажей, постоянно пересѣкающихъ площадь, потому что имъ необходимо какъ можно скорѣе подъѣхать къ отелю. Экипажи эти нѣчто въ родѣ маленькихъ омнибусовъ, безпрерывно звонящихъ въ колокольчикъ;

самому герцогу де-Саганъ пришлось бы приостановить свою карету, если бы какому-нибудь плохонькому умирающему втемяшилось въ голову во что бы то ни стало прямикомъ проѣхать въ Божій отель. Умирающіе упрямы, и весь Парижъ обязанъ останавливаться, если какая-нибудь m-me Леранъ, торгующая на улицѣ des Martyrs поддержанными вещами, ѣдетъ въ упомянутое мѣсто Cité. Надо замѣтить, что эти чертовскія маленькія повозки снабжены очень таинственными молочными стеклами, такъ что фантазія можетъ рисовать себѣ за ними самыя прекрасныя агоніи; для этого достаточно обладать воображеніемъ консьержки. Если же имѣть болѣе сильное, нѣсколько склоняющееся въ сторону необычнаго, всевозможнымъ предположеніямъ не будетъ границъ. Но я видѣлъ, что туда подъѣзжали и открытыя дрожки, дрожки съ поднятыми верхами, нанятые по обычной таксѣ—два франка за часъ умиранія.

Этотъ превосходный отель очень старъ: въ немъ уже во времена короля Клодвиги умирали на нѣсколькихъ кроватяхъ; въ настоящее же время въ немъ умираютъ на пятистахъ пятидесяти девяти разъ. Понятно, нѣсколько фабричнымъ способомъ. При такомъ громадномъ производствѣ каждая отдѣльная смерть выполняется не столь тщательно, но вѣдь и не въ этомъ дѣло; дѣло въ количествѣ. Кто въ наше время дастъ хоть что нибудь за пре-

красно разработанную смерть? Никто. Даже люди богатые, которые, кажется, могли бы позволить себѣ умереть съ прохладцей, и то становятся въ этомъ отношеніи небрежными и равнодушными; желаніе умереть своей собственной, присущей только себѣ самому смертью становится все рѣже. Еще немного—и оно станетъ столь же рѣдкимъ, какъ и своя собственная жизнь. Боже мой, все это уже имѣется на свѣтѣ въ готовомъ видѣ—уже при рожденіи человѣкъ находитъ готовую жизнь и ему остается лишь натянуть ее на себя. Самъ ли желаешь умереть, или вынужденъ къ этому,—все равно усилій дѣлать не приходится.

Умирають, какъ попало, смертью, соответствующей болѣзни, которой страдаешь (потому что съ тѣхъ поръ, какъ всѣ болѣзни стали извѣстны, узнали и то, что извѣстнаго рода смерть соответствуетъ такой-то болѣзни, а не человѣку, и больному, такъ сказать, остается только принять ее).

Даже въ санаторіяхъ, гдѣ люди умирають такъ охотно и съ такой благодарностью къ докторамъ и сидѣлкамъ, все-таки умирають смертью, принятой въ данномъ заведеніи, и къ этому относятся благосклонно. Но когда умирають у себя дома, то, естественно, приходится избирать корректную кончину, принятую въ порядочныхъ кругахъ, составляющую какъ бы первый актъ похоронъ перваго разряда и его прекраснаго церемоніала. Въ подобныхъ случаяхъ бѣдняки толпятся передъ до-

момъ и не могутъ досыта налюбоваться всѣмъ происходящимъ. Ихъ смерть, конечно, будетъ банальна, безо всякихъ проволочекъ; они должны радоваться и тому, если на ихъ долю выпадаетъ кончина хоть мало-мальски подходящая къ нимъ. Пусть она окажется слишкомъ большой—не бѣда, можно потянуться; а вотъ, если она не сойдется на груди, или начнетъ душить за горло—вотъ тогда нехорошо.

Когда я вспоминаю о нашей семьѣ, изъ которой никого не осталось въ живыхъ, мнѣ кажется, что въ прежнія времена, вѣроятно, было иначе. Прежде люди знали (или, по крайней мѣрѣ, предчувствовали), что носятъ въ себѣ зачатокъ своей собственной смерти. Дѣти вмѣщали въ себѣ маленькую смерть, а взрослые—большую. Но она уже была заложена въ нихъ, и это-то придавало имъ необычайное достоинство и молчаливую гордость.

Дѣдъ мой, камергеръ Бригге, еще носилъ въ себѣ свою собственную смерть. И что за смерть! она длилась два мѣсяца и до того бушевала, что ее было слышно даже во всѣхъ надворныхъ строеніяхъ. Длинный, старый господскій домъ не могъ вмѣстить такой смерти—казалось, что къ нему нужно пристроить еще боковыя крылья, потому что тѣло камергера захватывало все большее и большее пространство, и онъ все время требовалъ, чтобы его переносили изъ одного по-

мѣщенія въ другое, и страшно гнѣвался, когда уже больше не оставалось комнатъ, въ которыхъ бы онъ не полежалъ, а день не склонялся еще къ концу. Въ такихъ случаяхъ его относили по лѣстницѣ наверхъ, въ комнату блаженной памяти матушки; его сопровождала толпа слугъ, служанокъ и собакъ, которыхъ онъ всегда держалъ при себѣ — дворецкій шелъ впереди. Комната содержалась въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ находилась двадцать три года тому назадъ, когда матушка изволила скончаться. Обыкновенно никто и никогда не смѣлъ посѣщать ее. А тутъ въ нее врывалась цѣлая ватага. Занавѣси отдергивались, и здоровый послѣобѣденный лѣтній свѣтъ принимался разсматривать оробѣвшіе и испуганные предметы и неуклюже отражался въ зеркалахъ, съ которыхъ срывали покрывала. Люди поступали такъ же. Иныя горничныя, отъ избытка любопытства, забывали даже, какъ надо держать руки, молодые лакеи на все таращили глаза, а пожилые слуги старались припомнить рассказы о запертой комнатѣ, въ которой они въ настоящее время благополучно находились. Но пребываніе въ комнатѣ, гдѣ всѣ предметы имѣли свой собственный запахъ, дѣйствовало возбуждающимъ образомъ прежде всего на собакъ... За спинками креселъ хлопотливо бѣгали взадъ и впередъ громадныя, тонкія, русскія борзые; потомъ онѣ

длинной, раскачивающейся походкой, точно танцуя, пробирались поперекъ комнаты; у оконъ, словно звѣри на гербахъ, поднимались на заднія лапы, а тонкія переднія клали на бѣлый съ золотомъ подоконникъ и поворачивая острую морду съ покатымъ лбомъ то направо, то налево, напряженно разглядывали дворъ. Маленькіе, желтые, какъ шведскія перчатки, таксики залѣзали на широкія штофныя кресла у окна, и ихъ фیزیоміи выражали, что все обстоитъ благополучно; жесткошерстая лягавая собака съ недовольнымъ видомъ терлась спиной объ золоченыя ножки столика, отчего на его расписной доскѣ вздрагивали севрскія чашки.

Да, въ этихъ случаяхъ, для заспанныхъ и теперь словно растерявшихся вещицъ наступало ужасное время. Случалось, что изъ книги, которую неуклюже раскрывала чья-нибудь торопливая рука, выпархивали лепестки розъ и ихъ тутъ же растаптывали; или кто-нибудь хваталъ маленькую, хрупкую вещицу, и она моментально оказывалась сломанной, послѣ чего ее снова ставили на прежнее мѣсто; иногда что-нибудь согнутое совали за занавѣсь или даже бросали за позолоченную сѣтку камина. А время отъ времени что-нибудь падало, глухо ударяясь о коверъ или съ рѣзкимъ шумомъ о паркетъ, но въ томъ и въ другомъ случаѣ вещь или звонко разлеталась на куски, или почти

беззвучно разваливалась, такъ какъ избалованныя бездѣлушки не переносили даже наилегчайшаго паденія.

Если бы кому-нибудь тогда пришло въ голову спросить, почему на эту комнату, всегда такъ старательно охранявшуюся, теперь вдругъ обрушивалась гибель—быль бы возможенъ лишь одинъ отвѣтъ—по случаю смерти.

По случаю умиранія камергера Христофора Детлева Бригге изъ Ульсгаарда. Потому что его громадное тѣло, точно вылѣзая изъ темно-синяго мундира, лежало посреди комнаты и не шевелилось. На его большомъ, совсѣмъ чужомъ и никому неизвѣстномъ лицѣ глаза оставались сомкнутыми—онъ не видѣлъ, что творится вокругъ. Сначала хотѣли было уложить его на кровать, но онъ воспротивился, потому что возненавидѣлъ постели съ первыхъ же ночей своей болѣзни. Къ тому же здѣшняя кровать оказалась слишкомъ маленькой для него, и его пришлось опустить на коверъ, такъ какъ онъ не позволилъ нести себя обратно.

И вотъ онъ лежалъ, и можно было подумать, что онъ уже мертвъ. Когда начинало смеркаться, собаки одна за другой тихонько прокрадывались въ полураскрытыя двери и только та, что была съ жесткой шерстью и угрюмой мордой, продолжала сидѣть рядомъ со своимъ хозяиномъ, положивъ одну изъ своихъ широкихъ, мохнатыхъ лапъ на

громадную, сѣрую руку Христофора Детлева. Большинство прислуги также уходило и толпилось въ бѣломъ корридорѣ, гдѣ было гораздо свѣтлѣе; а тѣ, что оставались еще въ комнатѣ, иногда украдкой смотрѣли на громадную, темнѣющую кучу на полу и втайнѣ желали, чтобы она уже представляла изъ себя ни болѣе, ни менѣ какъ громадное одѣяніе, прикрывающее куда негодную вещь. Но подъ нимъ находилось и еще нѣчто—голосъ; голосъ, котораго еще семь недѣль тому назадъ никто не зналъ, потому что онъ не былъ голосомъ камергера, онъ не принадлежалъ Христофору Детлеву, а смерти Христофора Детлева.

Смерть Христофора Детлева пребывала на Ульсгаардѣ уже въ продолженіе многихъ, многихъ дней, со всѣми веда переговоры и всѣмъ предъявляла свои требованія. Требовала, чтобы ее водворяли въ голубой комнатѣ, а потомъ въ маленькомъ салонѣ, а послѣ въ залѣ. Требовала собакъ, требовала, чтобы смѣялись, говорили, играли, держали себя тихо, и все это заразъ. Требовала друзей, женщинъ и покойниковъ, и требовала своей собственной смерти. Требовала и кричала. Потому что, когда наступала ночь, и тѣ изъ прислугъ, которымъ не надо было дежурить, переутомившись, пробовали уснуть,—смерть Христофора Детлева начинала кричать, кричать и стонать и такъ долго и упорно ревѣть, что

даже и собаки, вначалѣ подвывавшія ей, умолкали, не смѣли растянуться на полу и, стоя на длинныхъ, стройныхъ, дрожащихъ лапахъ, только выказывали страхъ. И когда къ тѣмъ, что находились въ деревнѣ, сквозь необъятную, серебристую, датскую лѣтнюю ночь, доносился зовъ ея, то они вставали, какъ во время грозы, одѣвались и, не произнося ни слова, до тѣхъ поръ сидѣли вокругъ стола, около лампы, пока крикъ не утихалъ. А женщинъ, которымъ въ непродолжительномъ времени предстояло родить, отводили въ самыя дальнія комнаты и прятали за плотныя ткани алькова; и все-таки онѣ слышали крикъ, слышали, какъ если бы онъ раздавался въ ихъ собственномъ чревѣ, и умоляли, чтобы имъ позволили встать, придти къ остальнымъ, и, бѣлая, широкія, со стертими чертами лица, подсаживались къ столу... И коровы, что телились въ это время, начинали беспокоиться и не могли разрѣшиться, а у одной пришлось даже вырвать изъ чрева плодъ вмѣстѣ со всѣми внутренностями, потому что онъ никакъ не могъ высвободиться. И всѣ работали плохо, забывали даже объ уборѣ сѣна, потому что утромъ вследствие страшной слабости отъ продолжительнаго бодрствованія и испуганныхъ пробужденій ничего не помнили. И когда въ воскресные дни они отправлялись въ бѣлую, мирную церковь, то молились въ ней о томъ, чтобы въ Ульсгаардѣ не

оставалось болѣе барина, потому что тотъ, который находился тамъ, былъ ужасенъ. И то, о чемъ всѣ думали и молились про себя, пасторъ произносилъ громко, съ каеэдра: вѣдь, и на его долю болѣе не выпадало спокойныхъ ночей, и онъ пересталъ постигать волю Господню. И колоколъ звонилъ о томъ же, такъ какъ у него оказывался ужасный соперникъ, гудѣвшій всю ночь напролетъ, и заглушить его онъ не могъ, если бы даже заставилъ звучать всю массу своего металла. Да, всѣ говорили одно и то же; среди молодежи нашелся даже юнецъ, которому приснилось, будто онъ отправился въ усадьбу и вилами убилъ барина; и оказалось, что всѣ находятся въ такомъ возбужденіи, до того возмущены своими страданіями и не владѣютъ собой, что слушая сонъ, сами того не сознавая, старались сообразить, хватить ли юнца на подобный поступокъ или нѣтъ? И во всѣхъ окрестностяхъ, гдѣ еще за нѣсколько мѣсяцевъ до того любили, цѣнили и жалѣли стараго камергера, теперь чувствовали и говорили то же самое. Но сколько ни говорили, это ни на каплю не мѣняло положенія: смерть Христофора Детлева, поселившаяся въ Ульсгаардѣ, не позволяла торопить себя. Она устроилась тамъ на десять недѣль и всѣ сполна провела ихъ въ замкѣ. И въ продолженіе всего этого времени она властвовала тамъ до того неограниченно, какъ никогда не вла-

ствовалъ самъ Христофоръ Детлевъ Бригге,—словно король какой-нибудь.

И была это не смерть человѣка, страдающаго водянкой, а злая кончина князя; и носилъ ее въ себѣ камергеръ всю жизнь, возвращая своими соками. Весь избытокъ гордости, своеволия и привычки повелѣвать, не израсходованный въ спокойные дни жизни, онъ перенесъ на свою смерть,—ту смерть, что водворилась въ Ульсгаардъ и такъ тянула время.

Да и какъ взглянуть бы камергеръ Бригге на человѣка, вздумавшаго потребовать отъ него, чтобы онъ умеръ иною, а не такую смертью? Онъ умиралъ тяжело, но по-своему.

И когда я вспоминаю о другихъ смертяхъ, о которыхъ мнѣ довелось слышать или пришлось видѣть—всегда было одно и то же: въ тѣ времена всѣ умирали своей собственной смертью. Мужчины заключали ее, точно плѣнницу, въ свою форму, а женщины постепенно становились совсѣмъ крохотными, старенькими и совершали переходъ въ иной міръ чисто по-барски, лежа, точно на сценѣ, на кроватяхъ непомѣрной величины, окруженные всей семьей, всей дворней и всѣми собаками. Даже дѣти, самыя малюсенькія дѣти, и тѣ не умирали какой-нибудь первой попавшейся

смертью: нѣтъ, и они брали себя въ руки и отходили такими, какими были отъ рожденія и стали бы впослѣдствіи.

И когда беременныя женщины непроизвольно складывали на громадномъ животѣ руки, словно чувствуя внутри себя два плода—ребенка и смерть—какую грустную красоту придавало имъ это! И не потому ли, что имъ казалось, что оба эти плода зрѣютъ вмѣстѣ, на ихъ опустошенныхъ лицахъ временами появлялась сытая, почти упитанная улыбка.

Я кое-что предпринялъ противъ страха: всю ночь просидѣлъ за писаньемъ и теперь такъ усталъ, словно послѣ долгаго хожденія по полямъ Ульсгаарда. А все-таки тяжело, что теперь ничего не осталось по-прежнему, и въ длинномъ, старомъ господскомъ домѣ живутъ чужіе. Можетъ быть, въ настоящее время, въ бѣлой комнатѣ спятъ служанки, спятъ тяжелымъ, влажнымъ сномъ, съ вечера до самаго утра.

И никого-то у меня нѣтъ, и ничего-то нѣтъ, и разъѣзжаю я по свѣту съ сундучкомъ да ящикомъ съ книгами и, въ сущности, безо всякаго любопытства! И что это за жизнь—безъ дому, безъ унаслѣдованныхъ вещей, безъ собакъ? Хотя бы, по крайней мѣрѣ, сохранились воспоминанія; но

у кого они имѣются? Хоть бы дѣтство помнить, а то и оно точно погребено. Можетъ быть, надо состарѣться, чтобы возникли воспоминанія? Мнѣ кажется, что хорошо быть старымъ.

Сегодня было чудное осеннее утро. Я прошелся по Тюльери. Все, что лежало на востокъ, передъ солнцемъ, слѣпило глаза; и то, что было имъ освѣщено, казалось задернутымъ свѣтло-сѣрой пеленой тумана. Въ садахъ, еще не успѣвшихъ обнажиться, сѣрѣя на сѣромъ фонѣ, нѣжились на солнышкѣ статуи. Отдѣльные цвѣтки на длинныхъ грядкахъ выпрямлялись и испуганно восклицали: красное! Изъ-за угла, со стороны Champs Elysées, показался высокій, стройный мужчина; у него была клюка, но онъ уже не опирался на нее, а совсѣмъ свободно несъ ее передъ собою, и время отъ времени ударялъ ею по землѣ, твердо и громко, словно герольдъ жезломъ. Онъ не могъ подавить радостной улыбки и мимоходомъ улыбался и солнцу и деревьямъ. Походка у него была робкая, какъ у ребенка, но необыкновенно легкая, преисполненная воспоминаній о прежней ходбѣ.

Чего только не въ состояніи сдѣлать такая маленькая луна! Есть дни, когда все вокругъ тебя

кажется свѣтлымъ, легкимъ, едва намѣченнымъ въ прозрачномъ воздухѣ и все-таки яснымъ. Самое близкое и то уже окрашено тонами дали, какъ бы отодвинуто, кажется намекомъ, а не дѣйствительностью; и все: рѣка, мосты, длинные улицы, расточительныя площади, все имѣетъ отношеніе къ дали, все она включила въ себя, все нарисовано на ней, точно на шелку. И нельзя предугадать, какой эффектъ въ этихъ случаяхъ *можетъ произвести свѣтло-зеленый экипажъ на Pont-neuf, или какое-нибудь красное пятно, удержать которое нѣтъ возможности, или же просто плакать на брандмауерѣ какой-нибудь группы жемчужно-сѣрыхъ домовъ. Все упрощено, занесено на правильный, свѣтлый фонъ, точно лицо на какомъ-нибудь портретѣ Манэ. И нѣтъ ничего ничтожнаго или излишняго. Букинисты, распаковывающіе на quai свои ящики, свѣжая или поблеклая желтизна книгъ, фіолетово-коричневатый переплетъ, болѣе яркая зелень какой-нибудь папки,—все имѣетъ значеніе, все идетъ одно къ другому, составляетъ часть и образуетъ цѣлое, въ которомъ нѣтъ недостатка ни въ чемъ.

Внизу слѣдующее сопоставленіе: женщина толкаетъ впередъ небольшую тачку, на тачкѣ, вдоль, стоитъ шарманка; сзади нея, поперекъ, дѣтская

коляска; а въ ней очень твердо стоитъ на ноженкахъ превеселенькій ребенокъ въ чепцѣ и ни за что не желаетъ садиться. Время отъ времени женщина принимается вертѣть шарманку; тогда малютка тотчасъ же поднимается въ своей колясочкѣ и топочетъ ноженками, а маленькая дѣвочка въ зеленомъ праздничномъ платьицѣ танцуетъ и бьетъ въ тамбуринъ, по направленію къ верхнимъ окнамъ.

Думается, что теперь, когда я учусь видѣть, мнѣ слѣдовало бы начать какую-нибудь работу. Мнѣ двадцать восемь лѣтъ, и въ моей жизни все равно, что ничего не было. Подчеркнемъ: я написалъ этюдъ о Корпачію, и очень плохой этюдъ; драму, подъ заглавіемъ «Бракъ», гдѣ весьма сомнительными средствами доказывалось нѣчто фальшивое; и стихи... Да, но стихи, если ихъ писать равно, выходятъ такими незначительными. Слѣдовало бы не торопиться писать ихъ и всю жизнь—и по возможности, долгую жизнь—накапливать для нихъ содержаніе и сладость, и тогда, къ концу жизни, можетъ быть и удалось бы написать строчекъ десять порядочныхъ. Потому что стихи во все не чувство, какъ думаютъ люди (чувства достаточно рано проявляются у человѣка), они—опытъ. Чтобы написать хоть одну строчку стиховъ, нужно перевидѣть массу городовъ, людей и вещей, нужно знать животныхъ, чувствовать, какъ летаютъ

птицы, слышать движеніе мелкихъ цвѣточковъ, распускающихся по утрамъ... Нужно умѣть снова мечтать о дорогахъ невѣдомыхъ, вспоминать встрѣчи нежданныя и прощанія, задолго предвидѣнные, воскрешать въ памяти дни дѣтства, еще неразгаданнаго... вызвать образъ родителей, которыхъ оскорблялъ своимъ непониманіемъ, тѣмъ, что когда они стремились доставить радость тебѣ, думалъ, что она предназначена другому; дѣтскія болѣзни, разнообразныя и многочисленныя и какъ-то странно начинающіяся... Дни, проведенные въ тихихъ, укромныхъ комнатахъ, и утра на берегу морскомъ; вообще море—морья. Ночи въ дорогѣ, гдѣ-то высоко съ шумомъ проносящіяся мимо насъ и исчезающія вмѣстѣ со звѣздами; но и этого всего еще не достаточно. Нужно хранить въ душѣ воспоминанія о множествѣ любовныхъ ночей, и чтобы при этомъ ни одна изъ нихъ не походила на другую; о крикахъ во время потугъ и о бѣлыхъ, воздушныхъ, спящихъ женщинахъ, уже разрѣшившихся отъ бремени и вновь замыкающихся... И еще нужно, чтобы человѣкъ когда-то бодрствовалъ у изголовья умирающихъ, сиживалъ около покойниковъ, въ комнатахъ, гдѣ окна открыты, и до него, откуда-то, какъ бы толчками, доносились разные шорохи. И все-таки мало еще однихъ воспоминаній: нужно умѣть забыть ихъ, и съ безграничнымъ терпѣ-

ніемъ выжидать, когда они начнутъ снова выплывать. Потому что нужны не сами воспоминанія. Лишь тогда, когда они претворятся внутри насъ въ плоть, взоръ, жестъ и станутъ безымянными, когда ихъ нельзя будетъ отдѣлить отъ насъ самихъ,—только тогда можетъ выдаться такой исключительный часъ, когда какое-нибудь изъ нихъ перельется въ стихотвореніе. А мои стихи всѣ возникли иначе и, слѣдовательно, ихъ нельзя называть стихами. Въ періодъ же писанія своей драмы, я страшно заблуждался, а тѣмъ, что мнѣ понадобилось третье лицо для изображенія судьбы двухъ людей, взаимно отравляющихъ другъ другу жизнь,—я доказалъ, что я—глупый и слѣпой подражатель. До чего легко попался я въ ловушку! Между тѣмъ, я долженъ былъ знать, что этотъ третій, проходящій черезъ всѣ жизни и во всѣхъ литературныхъ произведеніяхъ, лишь тѣнь третьяго лица, никогда не существовавшего въ дѣйствительности, что оно не имѣетъ ровно никакого значенія, и его не слѣдуетъ признавать. Природа, вѣчно старающаяся чѣмъ-нибудь отвлечь вниманіе людей отъ своихъ глубочайшихъ тайнъ, пользуется имъ, какъ ширмами. Это третье лицо лишь ширмы, за которыми разыгрывается сама драма. Оно уподобляется шуму въ преддверіи дѣйствительнаго конфликта, развивающагося въ безгласной тишинѣ. Надо полагать, что до сихъ поръ всѣмъ

казалось слишкомъ тяжелымъ говорить о тѣхъ двухъ, въ которыхъ вся суть; третье же лицо, именно потому, что оно имѣетъ такъ мало отношенія къ дѣйствительности, представляетъ изъ себя болѣе легкую часть задачи, и его всѣ умѣли изображать. У авторовъ, при самой завязкѣ драмы, уже замѣчается какое-то нетерпѣніе поскорѣе добраться до «третьяго»: они едва могутъ дожидаться его появленія. И какъ только «онъ» является, въ ихъ глазахъ все обстоитъ прекрасно. Но до чего скучно, если онъ опаздываетъ! Безъ него ничто не можетъ совершиться, всѣ топчутся на мѣстѣ, чего-то ждутъ, и дѣйствіе застреваетъ. А что, если все такъ и сведется къ остановкѣ и недоумѣнію? А что, господинъ драматургъ, и ты, публика, столь прекрасно знающая жизнь,—что, если бы этотъ излюбленный вами свѣтскій человѣкъ, или просто молодой человѣкъ, преисполненный всяческихъ притязаній, расторгающій словно отмычкой всѣ браки,—что, если бы онъ исчезъ? Что, если бы его, на примѣръ, чортъ побралъ? На минуту предположимъ это. Вотъ тутъ-то сразу и обнаружится искусственность пустаго пространства нашихъ сценъ. Чего добраго, наступитъ время, когда ихъ придется замуровать, какъ простую дыру, грозящую опасностью, и лишь моль, поселившись въ барьерахъ ложъ, будетъ носиться въ ненадежной пустотѣ. Тогда драматургамъ ужъ

не придется наслаждаться виллами, построенными въ складчину съ другими лицами. Всѣ справочныя бюро будутъ подыскивать для нихъ въ отдаленнѣйшихъ частяхъ свѣта того незамѣнимаго, что замѣнялъ собою всякое дѣйствіе. И при всемъ томъ они существуютъ среди людей,—не «третьи»,—а тѣ двое, о которыхъ можно было бы такъ невѣроятно много сказать, и о которыхъ еще никогда и ничего не было сказано, хотя они страдаютъ и совершаютъ разные поступки и не знаютъ, чѣмъ помочь себѣ.

Смѣшно: сижу я себѣ въ своей маленькой коморкѣ, я—Бригге, двадцати восьми лѣтъ, никому и ничѣмъ неизвѣстный, сижу себѣ, и ровно ничего изъ себя не представляю. И все-таки это ничтожество, сидя въ сѣренькій парижскій полдень у себя на пятомъ этажѣ, думаетъ, разсуждаетъ и вопрошаетъ:

Неужели возможно, чтобы до сего времени люди не замѣчали, не познавали и не высказывали ничего дѣйствительно значительнаго?

Развѣ мыслимо, чтобы протекли тысячелѣтія, на протяженіи которыхъ была возможность наблюдать, размышлять и писать, а имъ дали пролетѣть, словно рекреации между двухъ уроковъ, когда только успѣваешь проглотить бутербродъ и яблоко?

Да, возможно.

Развѣ возможно, чтобы, несмотря на всяческія изобрѣтенія и всяческій прогрессъ, культура, религія и міровая мудрость коснулись лишь внѣшней стороны жизни? И развѣ возможно, чтобы даже и эту внѣшнюю сторону, которая все же хоть что-нибудь да представляетъ изъ себя, цѣликомъ окутали невѣроятно-скучной матеріей, такъ что она напоминаетъ гостиную мебель въ лѣтнее время?

Да, возможно.

Неужели возможно, чтобы вся міровая исторія была невѣрно истолкована?

Неужели возможно, что наше представленіе о прошломъ все сплошь ошибочно, потому что, говоря о немъ, всегда говорили о массѣ, будто суть въ столпившейся кучѣ людей, а не въ единомъ, окруженномъ толпой, но чуждомъ ей, отчего онъ и гибнетъ?

Да, возможно.

Неужели возможно думать, что необходимо навестать все происшедшее до нашего рожденія? Мыслимо ли, чтобы каждому въ отдѣльности нужно было объяснять, что онъ—продуктъ всего прошлаго, а потому не долженъ позволять другимъ, имѣющимъ иной опытъ, внушать себѣ что бы то ни было?

Да, возможно.

Развѣ возможно, чтобы всѣ люди доподлинно знали прошедшее, котораго никогда не существовало? Неужели возможно, чтобы для нихъ дѣйствительность была ничѣмъ, чтобы у ихъ жизни ни съ чѣмъ не было никакой связи, чтобы она уподоблялась часамъ, тикающимъ въ пустой комнатѣ?

Да, возможно.

Неужели возможно, чтобы о дѣвушкахъ ничего не знали, а между тѣмъ, онѣ, вѣдь, живутъ же на свѣтѣ? Возможно ли, чтобы, говоря о «женщинахъ», «дѣтяхъ» и «мальчикахъ», не подозревали даже, при всемъ образованіи не подозревали — что всѣ эти слова давно утратили множественное число и теперь имѣются лишь въ безчисленномъ количествѣ единицъ?

Да, возможно.

Неужели возможно существованіе людей, думающихъ, что слово «богъ» имѣетъ одинаковое значеніе для всѣхъ? Посмотри на двухъ школьниковъ: одинъ изъ нихъ приобрѣтаетъ перочинный ножъ: его сосѣдъ въ тотъ же день покупаетъ точь-въ-точь такой же. Недѣлю спустя они показываютъ ихъ другъ другу и оказывается, что ножи уже сильно отличаются другъ отъ друга, — до того различны были измѣненія, вызванныя въ нихъ различнымъ обращеніемъ. «Да, — можетъ возразить вамъ на это мать одного изъ школьниковъ, — это такъ будетъ, если вы сочтете необходимымъ сейчасъ же пустить

ножи въ обиходъ». Вотъ какъ! да неужели можно предположить, что, имѣя своего бога, можно не пускать его «въ обиходъ»?

Да, возможно.

Но если все это возможно, если существуетъ хоть намекъ на подобную возможность, — то совершенно необходимо, во что бы то ни стало, предпринять что-нибудь противъ этого, и первый, кому пришла въ голову такая безпокойная мысль, долженъ постараться какъ-нибудь пополнить этотъ пробѣлъ: пусть это будетъ не самый подходящий, а первый попавшійся человѣкъ, потому что иного то вѣдь нѣтъ въ наличности, — и вотъ поэтому молодой, незначительный иностранецъ Бригге долженъ забраться на свой пятый этажъ и начать писать, день и ночь писать: да, этимъ кончится: придется ему приняться за писанье.

Было мнѣ тогда, вѣроятно, лѣтъ двѣнадцать, самое большее — тринадцать. Отецъ взялъ меня съ собою въ Урнеклостеръ. Не знаю почему, ему вдругъ вздумалось навѣстить тестя — они не видались уже нѣсколько лѣтъ, съ самой смерти моей матери, и отецъ ни разу не побывалъ въ старинномъ замкѣ, въ которомъ поселился графъ Бригге, удалившись въ весьма преклонномъ возрастѣ отъ всѣхъ дѣлъ. Потомъ мнѣ не довелось болѣе ви-

дѣтъ этого стариннаго зданія, перешедшаго послѣ смерти дѣда въ чужія руки. А въ воспоминаніяхъ дѣтства оно рисуется мнѣ не въ видѣ цѣлой постройки, а какъ-то все распадается на части: тутъ комната, тамъ другая, кусокъ какого-то коридора, представляющійся мнѣ чѣмъ-то самостоятельнымъ, какъ бы обломкомъ чего-то отдѣльнаго, а вовсе не помѣщеніемъ, соединяющимъ двѣ комнаты... Въ моихъ воспоминаніяхъ все разбросано—комнаты, какія-то лѣстницы, необыкновенно удобно спускающіяся внизъ, другія—узенькія, винтовыя, по которымъ поднимаешься вверхъ, точно кровь по жиламъ; гимнастическіе залы, высоко подвѣшенные балконы, подъѣзды, на которыхъ оказываешься совсѣмъ неожиданно, послѣ того, какъ небольшія двери точно вытолкнутъ тебя наружу, — все это еще живо рисуется въ моей памяти и никогда не исчезнетъ: точно съ безконечной высоты ко мнѣ въ душу свалился слѣпокъ съ этого дома и разбился на днѣ ея на отдѣльные куски. Мнѣ кажется, что только залъ сохранился въ моемъ сердцѣ въ цѣломъ видѣ, тотъ залъ, въ которомъ мы имѣли обыкновеніе ежедневно къ семи часамъ собираться къ обѣду. Я никогда не видалъ этого помѣщенія днемъ и даже не помню, куда выходятъ окна, и были ли они въ немъ; всякій разъ, когда въ немъ сходилась вся семья, въ тяжелыхъ канделябрахъ уже горѣли свѣчи, и

черезъ нѣсколько мгновеній начинало казаться, что и время, и все происшедшее за день за его предѣлами исчезало безслѣдно. Этотъ высокій, помнится, сводчатый залъ оказывался сильнѣе всего; своей темнѣющей высотой, своими никогда не освѣщенными углами, онъ высасывалъ изъ человѣка всѣ образы, а взамѣнъ не давалъ ничего опредѣленнаго. Всѣ сидѣвшіе за столомъ точно всецѣло растворялись въ немъ; сидѣли безвольные, безсознательные, безъ удовольствія, безъ сопротивленія, точно представляя изъ себя пустое мѣсто. Я припоминаю, что подобное состояніе какого-то полнаго уничтоженія вызывало во мнѣ первое время нѣчто въ родѣ тошноты, своего рода морскую болѣзнь; и пересилить это чувство я могъ лишь тѣмъ, что до тѣхъ поръ вытягивалъ подъ столомъ ногу, пока не касался ею до колѣна отца, сидѣвшаго противъ меня. Лишь много времени спустя, я обратилъ вниманіе на то, что онъ какъ бы понималъ, или позволялъ подобное поведеніе, хотя отношенія между нами были почти холодныя и вовсе не располагали къ такого рода вольности. А между тѣмъ это легкое прикосновеніе давало мнѣ силы переносить продолжительное пребываніе за обѣдомъ. Послѣ нѣсколькихъ недѣль судорожнаго принужденія себя, я, благодаря почти неограниченной способности дѣтей приспособляться, до того привыкъ къ жути этихъ сборищъ, что

мнѣ уже ничего не стоило просиживать часа два за столомъ; сравнительно они стали даже проходить довольно быстро, такъ какъ я занимался въ это время наблюденіемъ надъ присутствующими. Дѣдъ мой называлъ всѣхъ собиравшихся «своей семьей», да и остальные, я слышалъ, употребляли тотъ же терминъ; но, въ сущности, онъ оказывался невѣрнымъ ибо, хотя четверо сидѣвшихъ за столомъ и находились между собою въ отдаленномъ родствѣ, но никакъ не составляли одного цѣлаго. Дядя, помѣщавшійся рядомъ со мною, былъ уже старъ; на суровомъ и обвѣтрившемся лицѣ его выступало нѣсколько пятенъ, происшедшихъ, какъ я узналъ впослѣдствіи, отъ взорвашагося порохового заряда; въ чинѣ маіора онъ вышелъ въ отставку; угрюмый и недовольный, онъ поселился въ замкѣ и въ какомъ-то невѣдомомъ мнѣ помѣщеніи занимался алхиміей; отъ прислуги я узналъ, что онъ находится въ сношеніяхъ съ какими-то тюрьмами, и оттуда разъ или два въ годъ ему присылаютъ трупы. Въ этихъ случаяхъ онъ запирался у себя, день и ночь рѣзалъ ихъ и приготовлялъ какимъ-то таинственнымъ способомъ, чтобы предохранить отъ разложенія. Противъ него за столомъ сидѣла фрейлейнъ Матильда Браге, отдаленная кузина моей матери. Это была женщина неопредѣленнаго возраста, и о ней было лишь извѣстно, что она поддерживаетъ очень оживлен-

ную корреспонденцію съ австрійскимъ спиритомъ, барономъ Нольде; она до такой степени находилась подъ его властью, что ничего, даже самого незначительнаго, не предпринимала, не испросивъ предварительно его согласія или, вѣрнѣе, чего-то въ родѣ благословенія. Въ мое время она уже была необыкновенно полна, и свою мягкую и лѣнивую толщину съ большою небрежностью облекала въ свободныя, свѣтлыя платья. Движенія ея казались усталыми и неопредѣленными, глаза то и дѣло слезились; и, несмотря на все это, въ ней было что-то напоминавшее мнѣ мою нѣжную и стройную мать. И чѣмъ больше я смотрѣлъ на нее, тѣмъ болѣе находилъ въ ея лицѣ тонкихъ, едва уловимыхъ чертъ, которыя послѣ смерти матери, еще ни разу не могъ вполне ясно возстановить въ своей памяти. Лишь послѣ ежедневныхъ встрѣчъ съ Матильдой Браге, я снова вспомнилъ наружность покойной, а, можетъ быть, впервые позналъ ее. Лишь тутъ во мнѣ изъ сотни и сотни отдѣльныхъ черточекъ сложился образъ матушки, тотъ образъ, что теперь повсюду сопровождаетъ меня. Уже позднѣе я уяснилъ себѣ, что въ лицѣ фрейлейнъ Браге дѣйствительно находились всѣ отдѣльныя характерныя черты матери, но ихъ какъ будто заслонило, разъединило и исказило какое-то чуждое лицо, и поэтому онѣ казались не имѣющими связи другъ съ другомъ.

Рядомъ съ этой дамой сидѣлъ маленькій сынъ одной кузины, мальчикъ приблизительно моего возраста, но меньше и слабѣе меня. Изъ воротника, сложеннаго въ видѣ оборки, выглядывала длинная, блѣдная шея, скрадывавшаяся заостреннымъ подбородкомъ. У него были тонкія и плотно сжатые губы, слегка раздувавшіяся ноздри, и лишь одинъ изъ его чудныхъ, темно-карихъ глазъ былъ подвиженъ. И этотъ глазъ иногда грустно, но спокойно глядѣлъ на меня, въ то время какъ другой всегда косился въ уголъ, будто былъ проданъ и уже въ расчетъ не шелъ.

На верхнемъ концѣ стола стояло громадное кресло дѣда. Ему пододвигалъ его лакей, всѣ обязанности котораго только и заключались въ этомъ; когда старикъ сидѣлъ, оказывалось, что онъ заполняетъ собою лишь весьма незначительную часть этого кресла. Были люди, величавшіе глухого и высокомернаго стараго барина «Вашимъ Превосходительствомъ» и «Гофмаршаломъ»; другіе награждали его титуломъ «Генерала»; и, вѣроятно, когда-нибудь всѣ эти титулы принадлежали ему, но съ тѣхъ, поръ, какъ онъ занималъ какія бы то ни было должности, прошло столько времени, что подобныя обращенія казались совсѣмъ непонятными. Мнѣ же думалось, что къ его личности, моментально обостренно-бодрой, но въ большинствѣ случаевъ совершенно расплывающейся и отсутствующей,

щей, вообще не подходитъ никакое опредѣленное обращеніе. Я никогда не рѣшался называть его дѣдомъ, хотя временами онъ бывалъ ласковъ со мною, даже подзывалъ къ себѣ, при чемъ старался произносить мое имя шутливымъ тономъ. Впрочемъ, въ отношеніяхъ всей семьи къ графу проглядывала смѣсь робости и почтительности, и только маленький Эрикъ находился до извѣстной степени на короткой ногѣ съ сѣдовласымъ хозяиномъ дома; иногда своимъ подвижнымъ глазомъ онъ бросалъ на него быстрый, понимающій взглядъ, и дѣдъ также быстро отвѣчалъ ему на него; иногда въ долгіе послѣполуденные часы ихъ можно было встрѣтить въ концѣ длинной портретной галлерей: въ этихъ случаяхъ они рука объ руку, не разговаривая, но очевидно какимъ-то инымъ способомъ общаясь другъ съ другомъ, шли мимо темныхъ, старыхъ портретовъ. Я почти цѣлые дни проводилъ въ паркѣ, буковыхъ лѣсахъ или степи; къ счастью, въ Урнеклостерѣ водились собаки, и онѣ всюду сопровождали меня; тамъ и сямъ попадались домики арендаторовъ или фермы, гдѣ я доставалъ хлѣбъ, молоко и фрукты. По истеченіи первой недѣли послѣ приѣзда, помнится, я довольно беззаботно наслаждался своей свободой, и уже не боялся вечернихъ встрѣчъ за обѣдомъ.. Я почти ни съ кѣмъ не разговаривалъ, потому что мнѣ доставляло удовольствіе быть одному, и только иногда велъ крат-

кія бесѣды съ собаками; мы прекрасно понимали другъ друга. Молчаливость, впрочемъ, наша фамильная черта; я зналъ это по отцу, и меня нисколько не удивляло, что за столомъ почти ничего не говорили. Правда, въ первые дни послѣ нашего приѣзда Матильда Браге говорила много. Она разспрашивала отца о прежнихъ знакомыхъ въ разныхъ заграничныхъ городахъ, вспоминала давнишнія впечатлѣнія и сама доводила себя до слезъ, рассказывая о своихъ умершихъ подругахъ и какомъ-то молодомъ человѣкѣ, намекая, что тотъ любилъ ее, но она не отвѣчала на его безнадѣжную и вѣрную привязанность. Мой отецъ вѣжливо выслушивалъ ее, временами въ знакъ согласія наклонялъ голову, но отвѣчалъ лишь самое необходимое. Графъ за верхнимъ концомъ стола все время улыбался опущенными углами рта, причемъ лицо его казалось больше обыкновеннаго, точно на немъ была надѣта маска. Впрочемъ, иногда онъ и самъ заговаривалъ, причемъ его слова ни къ кому въ особенности не относились и, хотя произносились очень тихо, но раздавались по всему залу. Въ его голосѣ было что-то напоминающее равномерное, безпристрастное тиканье часовъ, и тишина вокругъ него, казалось, обладала своимъ собственнымъ резонансомъ, однимъ и тѣмъ же, для каждаго его слова.

Графъ Бригге считалъ особымъ вниманіемъ по

отношенію отца говорить съ нимъ объ его умершей супругѣ, моей матери; при этомъ онъ называлъ ее графиней Сибиллой. Всѣ его фразы заканчивались какъ бы вопросомъ о ней. Мнѣ казалось, самъ не знаю почему, что рѣчь идетъ о совсѣмъ молоденькой дѣвушкѣ въ бѣломъ, которая вотъ-вотъ можетъ войти къ намъ. Въ томъ же тонѣ онъ говорилъ при мнѣ о «нашей маленькой Аннѣ-Софіи», и когда я черезъ нѣсколько дней послѣ того сталъ разспрашивать объ этой барышнѣ, повидимому, любимицѣ дѣда, то оказалось, что рѣчь шла о дочери великаго канцлера Конрада Ровентлова, супругѣ съ лѣвой руки блаженной памяти Фридриха IV, прахъ которой уже почти полтора ста лѣтъ покоился въ Роскильдѣ. Года не имѣли для него ровно никакого значенія, смерть казалась мелкимъ событіемъ, котораго онъ не считалъ важнымъ; люди, которыхъ онъ заключилъ въ свою память — существовали для него разъ навсегда, и смерть въ этомъ отношеніи не могла ровно ничего измѣнить. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ смерти стараго вельможи мнѣ передавали, что онъ съ тѣмъ же упрямствомъ относился и къ будущему. Рассказываютъ, будто однажды, онъ говорилъ съ одной молодой женщиной о ея сыновьяхъ, особенно о будущихъ путешествіяхъ одного изъ нихъ, хотя молодая женщина находилась какъ разъ на третьемъ мѣсяцѣ своей первой

беременности; отъ страха и ужаса, слушая безостановочную болтовню старика, она чуть не лишилась сознанія.

Но началось все съ того, что я разсмѣялся. Да, громко разсмѣялся и не могъ успокоиться. Однажды за столомъ не оказалось Матильды Браге. Старый, почти окончательно слѣпой лакей, дойдя до ея мѣста, все-таки протянулъ блюдо къ пустому прибору. Простоявъ нѣкоторое время въ этой позѣ, онъ съ выраженіемъ довольства и достоинства, точно все оказалось въ порядкѣ, отправился обносить дальше. Я слѣдилъ за всей этой сценой, и въ первую минуту она казалась мнѣ вовсе не забавной. Но немного спустя, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда я подносилъ ко рту кусокъ чего-то, внезапно мною овладѣлъ смѣхъ, я поперхнулся и произвелъ ужасный шумъ. Хотя мнѣ самому это было очень непріятно, и я дѣлалъ страшныя усилія оставаться серьезнымъ, но приступы смѣха все возобновлялись, и я не могъ совладать съ ними.

Чтобы какъ-нибудь затушевать мое поведеніе, отецъ своимъ пѣвучимъ и сдержаннымъ голосомъ спросилъ: «Развѣ Матильда больна?» Дѣдушка какъ-то по-своему улыбнулся и произнесъ фразу, на которую я, занятый собою, не обратилъ тогда вниманія. «Нѣтъ, но она не желаетъ встрѣчаться съ Христиной». Когда же послѣ этого загорѣлый

маіоръ, мой сосѣдъ, неясно бормоча какое-то извиненіе, всталъ, сдѣлалъ полупоклонъ въ сторону графа и покинулъ залъ, я не приписалъ этого поступка словамъ дѣда. Но что мнѣ бросилось въ глаза, такъ это то, что онъ за спиною хозяина дома, въ самыхъ дверяхъ, еще разъ обернулся и сталъ кивать и дѣлать какіе-то призывные жесты маленькому Эрику и, къ моему величайшему удивленію, и мнѣ, точно приглашая насъ послѣдовать за собою. Это до такой степени удивило меня, что смѣхъ мой сразу прекратился. Но помимо этого уходъ маіора не произвелъ на меня никакого впечатлѣнія—онъ былъ мнѣ непріятенъ, и я замѣтилъ, что и маленькій Эрикъ не обращаетъ на него никакого вниманія.

Обѣдъ затянулся, какъ и всегда; когда мы добрались, наконецъ, до десерта, какое-то неясное движеніе въ полутемномъ концѣ зала привлекло мое вниманіе. Тамъ мало-по-малу стала пріотворяться дверь, обычно стоявшая запертой; мнѣ говорили, что она ведетъ въ антресоли. Я, съ совершенно непривычнымъ для себя чувствомъ любопытства и удивленія, сталъ всматриваться: вдругъ въ темномъ отверстіи показалась какая-то стройная женщина въ свѣтломъ одѣяніи и медленно направилась къ намъ. Не знаю, сдѣлалъ ли я движеніе, или испустилъ какой-нибудь звукъ, но шумъ опрокинутого стула заставилъ меня оторвать взоры отъ

этого странного существа, и я увидѣлъ, что отецъ, блѣдный, какъ смерть, вскочилъ съ своего мѣста; руки его, сжатые въ кулаки, повисли, словно плети, и онъ какъ бы намѣревался броситься на женщину. Между тѣмъ она, точно не замѣчая происходящаго, продолжала подходить къ намъ шагъ за шагомъ, и когда очутилась недалеко отъ графа, тотъ сразу всталъ, схватилъ отца за руку, подтащилъ къ столу и силой удержалъ на мѣстѣ; а чужая дама въ это время медленно и безучастно, среди неопредѣленной тишины, нарушаемой лишь дребезжаніемъ дрожащаго стекла, шагъ за шагомъ по освобожденному пространству прослѣдовала къ противоположнымъ дверямъ залы и исчезла въ нихъ. И въ то же мгновеніе я замѣтилъ, что двери за незнакомкой съ глубокимъ поклономъ затворилъ маленькій Эрикъ.

Изъ всѣхъ присутствующихъ единственно я не вставалъ изъ-за стола; забившись въ свое кресло, я чувствовалъ такую тяжесть во всемъ тѣлѣ, что безъ посторонней помощи, мнѣ казалось, не буду въ состояніи подняться съ него. Нѣкоторое время я ничего не различалъ. Потомъ вспомнилъ объ отцѣ и увидалъ, что старикъ все еще держитъ его за руку; пальцы его, словно бѣлые когти, впились въ руку отца, а самъ онъ продолжалъ улыбаться своей маскообразной улыбкой. У отца же лицо было гнѣвное и красное. Потомъ я услышалъ,

что дѣдъ что-то произнесъ; я слышалъ каждый слогъ, но смысла словъ не разобралъ. И все-таки они глубоко запали мнѣ въ душу, потому что года два тому назадъ внезапно выплыли въ моей памяти, и съ тѣхъ поръ я уже не забывалъ ихъ. Онъ сказалъ: «Ты вспылчивъ, камергеръ, и невѣжливъ. Почему ты не хочешь допустить, чтобы люди занимались своимъ дѣломъ?»—«Кто она?» громко прервалъ его отецъ. «Нѣкто,—кто имѣетъ полное право находиться здѣсь. Не чужая: Христина Браге». И тутъ наступила до странности прозрачная тишина, и снова задребезжало стекло. Но отецъ сразу рванулся и бросился вонъ изъ зала.

Я слышалъ, такъ какъ и самъ не могъ заснуть, какъ онъ всю ночь ходилъ взадъ и впередъ по своей комнатѣ. Подъ утро я вдругъ очнулся изъ своей полудремоты и съ ужасомъ, отъ котораго оцѣпенѣло сердце, увидалъ, что около моей кровати что-то бѣлѣетъ. Отчаяніе, наконецъ, придало мнѣ силы, я запряталъ голову подъ одеяло и отъ страха и чувства безпомощности расплакался. Вдругъ надъ моими плачущими глазами повѣяла прохлада, и вокругъ все стало проясняться; я крѣпко смежилъ вѣки надъ слезами, чтобы ничего не видѣть, но совсѣмъ близко надъ моимъ лицомъ, раздался голосъ, звучавшій тепло и нѣжно, и я узналъ его: это былъ голосъ фрейлейнъ Матильды. Я сразу утѣшился; но даже совершенно успокоенный, я все

же позволялъ утѣшать себя. Сознаніе, что доброта ея черезчуръ уже мягка, во мнѣ было, но, несмотря на это, я наслаждался ею, и мнѣ казалось, что я по-чему-то заслуживаю ея.

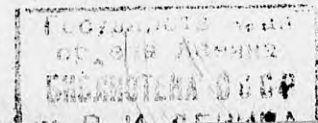
— «Тетя»,—сказалъ я, наконецъ, силясь уловить въ ея расплывчатыхъ чертахъ образъ матери, —«тетя, кто была та дама?»

— «Ахъ»,—отвѣтила фрейлейнъ Браге со вздохомъ, показавшимся мнѣ смѣшнымъ,—«несчастливая женщина, дитя, очень несчастная».

Утромъ я увидалъ, что въ одной изъ комнатъ нѣсколько лакеевъ укладываютъ вещи. Я подумалъ, что это, вѣроятно, мы собираемся уѣхать, и счелъ нашъ отъѣздъ вполне естественнымъ. Можетъ быть, такъво и было сначала намѣреніе отца.—Я никогда не узналъ, что побудило его послѣ того вечера еще долѣе оставаться въ Урнеклостерѣ. Но какъ бы то ни было мы не уѣхали и прожили въ замкѣ еще около восьми или девяти недѣль, переносили на себѣ гнетъ всѣхъ особенностей жизни въ немъ и еще трижды видѣли Христину Браге. Въ то время я ничего не зналъ о ея жизни; не зналъ, что она задолго, очень задолго до того, умерла вторыми родами, произведя на свѣтъ мальчика; судьба его, когда онъ выросъ, была ужасно жестока. Я не зналъ, что она—покойница. Но отецъ зналъ это. Можетъ быть, вспыльчивый отъ природы и любящій во всемъ ясность и опредѣленность,

онъ хотѣлъ заставить себя, не задавая вопросовъ, съ полнымъ самообладаніемъ переносить эти появленія? Я не понималъ, но догадывался, что онъ борется съ собой, и безсознательно пережилъ тѣ же чувства, что и онъ, когда, наконецъ, ему удалось овладѣть собою. Случилось это, когда мы въ послѣдній разъ увидѣли Христину Браге. Въ этотъ день за столомъ находилась и фрейлейнъ Матильда, но держала она себя какъ-то необычно. Какъ въ первые дни послѣ нашего пріѣзда, она говорила безъ умолку, безъ видимой связи, ежеминутно сбиваясь, при чемъ въ ней замѣчалась какая-то внутренняя тревога, заставлявшая ее непрерывно поправлять то свою прическу, то нарядъ; вдругъ она неожиданно вскочила съ мѣста и исчезла.

Въ то же мгновеніе мои взгляды невольно обратились на извѣстную дверь, и дѣйствительно: въ ней появилась Христина Браге. Мой сосѣдъ, майоръ, сдѣлалъ рѣзкое, порывистое движеніе, передавшееся моему тѣлу, но, очевидно, у него уже не хватило силъ подняться съ мѣста. Его смуглое, старое, пятнистое лицо обращалось отъ одного къ другому, ротъ полуоткрылся, и за испорченными зубами судорожно двигался языкъ; вдругъ это лицо исчезло, сѣдая голова очутилась на столѣ, а изъ-подъ нея и на ней виднѣлись точно разбросанныя части поломанной руки, а еще откуда-то, изъ другого мѣста, торчала цѣликомъ увядшая, пятнистая, дрожащая кисть другой.



И Христина Браге, словно больная, медленно, шагъ за шагомъ, среди неопикуемой тишины, нарушаемой только звукомъ, напоминавшимъ скуление старой собаки, прошла мимо. Но тутъ, слѣва, изъ за громаднаго, серебрянаго лебедя, наполненнаго нарциссами, выдвинулась маска старика съ неизмѣнной сѣрой улыбкой, и онъ поднялъ рюмку по направлению отца. И вдругъ я увидалъ, что отецъ, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Христина Браге проходила за его кресломъ, также поднялъ свою рюмку, но лишь на высоту ладони отъ стола, точно она была неимоверно тяжела.

И въ ту же ночь мы уѣхали.

Bibliothèque nationale.

Сажу и читаю поэта. Въ залѣ множество людей, но ихъ незамѣтно—они всѣ углубились въ книги. Иногда шелохнутся, переворачивая листъ, точно сами переворачиваются на другой бокъ между двумя сновидѣніями. Ахъ, до чего отрадно находиться среди читающихъ! Почему люди не всегда такіе? Можно подойти къ которому-нибудь изъ нихъ и тихонько дотронуться до него, а онъ и не почувствуетъ этого. И если, вставая, случится слегка толкнуть сосѣда и извиниться передъ нимъ, то онъ киваетъ головой по направлению голоса, даже лицо повернетъ туда же, но не видитъ тебя,

и волосы его похожи на волосы спящаго. До чего это дѣйствуетъ благотворно! И вотъ я сажу, и у меня есть свой поэтъ. Какая удача! Сейчасъ въ залѣ находится, можетъ быть, около трехсотъ читателей, но предположить, чтобы у каждаго изъ нихъ былъ свой поэтъ—немыслимо. (Господь вѣдаетъ, что у нихъ!) Трехсотъ поэтовъ нѣтъ на свѣтѣ. И вотъ какое мнѣ счастье,—я, можетъ быть, самый ничтожный изъ всѣхъ этихъ читающихъ, я—иностранецъ, а у меня въ рукахъ истинный поэтъ! Хотя я бѣденъ. Хотя на платьѣ, что я ношу каждый день, начинаютъ появляться потертыя мѣста, да и относительно моей обуви можно сдѣлать кое-какія замѣчанія. Но зато воротникъ у меня свѣжій, бѣлье чистое, и я могу въ такомъ видѣ зайти въ любую кондитерскую, даже на одномъ изъ главныхъ бульваровъ, и спокойно взять съ блюда пирожокъ. Въ этомъ не найдутъ ничего неловкаго, мнѣ не сдѣлаютъ замѣчанія и не попросятъ вонъ, потому что мои руки—руки человѣка изъ хорошаго общества; видно, что ихъ моютъ раза четыре или пять въ день. Да, ногти у меня чистые, на среднемъ пальцѣ не видно чернильных пятенъ, и особенной безупречностью отличаются кисти рукъ. Вѣдь, дѣло извѣстное, бѣдняки не моютъ рукъ такъ высоко. И на основаніи этого признака можно вывести извѣстныя заключенія. И ихъ выводятъ. Выводятъ при дѣловыхъ отношеніяхъ. Но существу-

еть разрядъ людей, и не одинъ—напримѣръ, люди, встрѣчающіеся на бульварѣ St. Michel и Rue de Racine, которыхъ нельзя сбить съ толку, и они плевать хотятъ на чистоту рукъ. Тѣ, глядя на меня, догадываются. Догадываются, что, въ сущности, я ихъ поля ягода, и что только разыгрываю легкую комедію. Вѣдь, на дворѣ масленица, и они не желаютъ портить мнѣ настроенія, а поэтому лишь слегка ухмыляются и подмигиваютъ мнѣ глазами, но такъ, чтобы ни одинъ посторонній не замѣтилъ этого. Въ общемъ они все же обращаются со мною, какъ съ бариномъ, а если къ тому же поблизости находится еще кто-нибудь, то становятся даже раболѣпными, ведутъ себя, будто на плечахъ у меня шуба и слѣдомъ за мною ѣдетъ собственный экипажъ. Иногда я подаю имъ два су, и самъ дрожу изъ опасенія, какъ бы они не отказались принять ихъ; но они принимаютъ. И все было бы въ совершенномъ порядкѣ, если бы они при этомъ слегка не усмѣхались и не подмигивали. Кто они, эти люди? Чего имъ отъ меня надо? Поджидаютъ они меня, что ли? Почему узнаютъ? Правда, борода у меня немного запущена и слегка—но только самую точку—напоминаетъ ихъ бѣлыя, старыя, помятыя бороды, всегда производившія на меня сильное впечатлѣніе. Но развѣ я не имѣю права относиться небрежно къ своей бородѣ? Многіе занятые люди поступаютъ такъ же, и, однако, никому не приходится

въ голову причислять ихъ по этой причинѣ къ подонкамъ общества. Потому что мнѣ совершенно ясно, что, въ сущности, они не нищіе, а подонки; хотя нѣтъ,—по настоящему, они въ то же время и нищіе, нужно умѣть различать. Это отбросы, кожура человѣческая, которую выплевываетъ судьба. Мокрые отъ слюны ея, они прилипаютъ къ какой-нибудь стѣнѣ, или столбу съ плакатами, или фонарю, или просто медленно стекаютъ вдоль улицы, оставляя за собою темный, грязный слѣдъ. Что, во имя всего святого, нужно отъ меня напр. этой старухѣ, выползшей изъ какой-то дыры со своимъ лоткомъ, напоминающимъ ящикъ ночного стола, въ которомъ катаются какія-то пуговицы и иголки?

Почему она все время идетъ за мною слѣдомъ и глядитъ на меня, точно стараясь разсмотрѣть, и слезятся глаза ея, будто какой-нибудь больной плюнулъ въ нихъ зеленой слюной... И какимъ образомъ этой маленькой, сѣрой женщинѣ пришла мысль простоять цѣлыхъ четверть часа рядомъ со мною у магазиннаго окна, протягивая длинный, старый карандашъ, который она какъ-то необычайно медленно высвободила изъ своихъ испорченныхъ, морщинистыхъ рукъ. Я сдѣлалъ видъ, что смотрю на выставленныя вещи и ничего не замѣчаю. Но она-то знала, что я вижу ее, знала, что стою и раздумываю надъ тѣмъ, что въ сущности она дѣлаетъ? Вѣдь, я отлично понимаю,

что дѣло вовсе не въ карандашѣ; я чувствую, что это какой-то знакъ, знакъ посвященныхъ, знакъ, вѣдомый отверженнымъ; я догадываюсь, что мнѣ слѣдуетъ куда-то придти и что-то сдѣлать. Но самое странное, что я не могъ отдѣлаться отъ чувства, будто фактически существуетъ извѣстнаго рода сообщество, которому принадлежитъ этотъ знакъ, и что, въ сущности, я долженъ былъ ожидать подобной сцены.

Было это двѣ недѣли тому назадъ. Но теперь почти дня не проходитъ безъ такого рода встрѣчъ. И не только въ сумерки, но бываетъ, что и въ полдень, на самыхъ многолюдныхъ улицахъ, вдругъ передо мною появится какая-нибудь старушка или старичекъ, кивнетъ мнѣ, что-то покажетъ и исчезнетъ, будто сдѣлавъ все необходимое. Возможно, что въ одинъ прекрасный день имъ придется фантазія явиться даже ко мнѣ въ комнату,—они, вѣдь, прекрасно знаютъ, гдѣ я живу и, конечно, сумѣютъ устроить такъ, чтобы консьержка ихъ не задержала. Но здѣсь, милѣйшіе, здѣсь-то я въ безопасности. Для посѣщенія этого зала, нужно имѣть особое разрѣшеніе. У меня оно имѣется, а у васъ нѣтъ. По улицамъ я хожу немного боязливо,—что вполне понятно; но зато въ концѣ концовъ подхожу къ стеклянной двери, открываю ее, точно входя къ себѣ, предъявляю у вторыхъ дверей билетъ—(такъ же, какъ вы предъявляете мнѣ свои

вещицы, съ тою разницею, что меня понимаютъ, и всѣмъ ясно, чего я желаю), и затѣмъ оказываюсь среди этихъ книгъ; здѣсь вамъ не добратъся до меня, здѣсь я въ такой же безопасности, какъ если бы умеръ, и сижу себѣ, да почитываю своего поэта.

Вы не знаете, что такое поэтъ? Имя Верлена ничего вамъ не говоритъ?—Не возбуждаетъ въ васъ никакихъ воспоминаній? Нѣтъ? Вы не отметили его среди тѣхъ, которыхъ знали? Мнѣ извѣстно, что для васъ не существуетъ различій. Но я-то читаю другого поэта, поэта, не живущаго въ Парижѣ, совсѣмъ другого. Поэта,—у котораго есть въ горахъ молчаливый пріютъ; его пѣсни раздаются, словно колокольный звонъ въ чистомъ воздухѣ. Счастливаго поэта, рассказывающаго намъ о своихъ окнахъ, о дверцахъ книжнаго шкапа, отражающихъ милую, одинокую даль. Это какъ разъ такой поэтъ, какимъ бы я самъ хотѣлъ быть; потому что ему такъ многое вѣдомо о дѣвушкахъ; тогда и я многое зналъ бы о нихъ. Онъ знаетъ дѣвушекъ, жившихъ сто лѣтъ тому назадъ; и то, что ихъ уже нѣтъ на свѣтѣ—ничего, такъ какъ ему все извѣстно. А это главное; онъ произноситъ ихъ имена,—тихія, написанныя стройнымъ почеркомъ, старомодными, продолговатыми, извивающимися на подобіе лентъ, бантиковъ, буквами, и имена ихъ старшихъ, взрослыхъ подругъ, въ кото-

рыхъ уже чуть-чуть слышится звонъ судьбы, едва проступаетъ разочарованіе и близость смерти. Можетъ быть, въ одномъ изъ ящиковъ его письменнаго стола краснаго дерева лежатъ ихъ выцвѣтшія письма и отдѣльные листки, выпавшіе изъ дневниковъ; въ нихъ описываются дни рожденій, пикники и опять рожденія. А можетъ быть въ какомъ-нибудь ящикѣ (пузатенькаго комода въ глубинѣ спальни у него хранятся и ихъ весенніе наряды; бѣлыя, съ мушками по тюлю, платья, обновлявшіяся на Пасху, хотя, въ сущности, онѣ болѣе подходили для лѣта; но дожидаться его у дѣвушекъ не хватаетъ терпѣнія. О, что за блаженство сидѣть въ одной изъ тихихъ комнатъ доставшагося по наслѣдству дома, въ спокойной обстановкѣ, среди тѣхъ вещей, съ которыми сжился, сидѣть и слушать—какъ въ легкомъ, свѣтло-зеленомъ саду пробуютъ голоса первыя синицы и вдали бьютъ деревенскіе часы. Сидѣть и смотрѣть на теплый лучъ полуденнаго солнца на полу, много думать о прежнихъ дѣвушкахъ и—быть поэтомъ. И подумать только, что, вѣдь, и я сдѣлался бы такимъ же поэтомъ, если бы имѣлъ возможность жить гдѣ-нибудь; все равно гдѣ, но въ одномъ изъ заколоченныхъ помѣщичьихъ домовъ, до которыхъ никому нѣтъ дѣла. Для меня было бы достаточно одной единственной комнаты (свѣтлой, въ мезонинѣ), и жилъ бы я въ ней со своими старыми вещами, семейными

портретами и книгами. И было бы у меня кресло, и цвѣты, и собаки, и крѣпкая палка для ходьбы по каменистымъ дорогамъ. И больше ничего. И альбомъ, переплетенный въ желтоватую, цвѣта слоновой кости, кожу, подбитый узорчатой, цвѣточками, бумагой; и я писалъ бы въ немъ. Писалъ бы много, потому что у меня было бы много мыслей и множество воспоминаній. Но все случилось иначе, одному Богу извѣстно—почему. Моя старинная мебель гнѣтъ гдѣ-то въ сараѣ, куда мнѣ позволили ее поставить, а самъ я... Господи Боже мой, да у самого меня нѣтъ кровли надъ головой, и дождь заливаетъ мнѣ глаза.

Иногда мнѣ приходится проходить мимо маленькихъ лавченочъ на rue de la Seine—продавцевъ старыхъ вещей или старыхъ гравюръ, или же мелкихъ антикваріевъ съ безпорядочными выставками на окнахъ. Къ нимъ никогда никто не входитъ—очевидно дѣла у нихъ не идутъ. Если же заглянуть во внутрь, то всякій разъ застаешь ихъ беззаботно погруженными въ чтеніе. Они не думаютъ ю завтрашнемъ днѣ, не волнуются, будетъ ли удача. Въ большинствѣ случаевъ у нихъ имѣется собака, которая всегда находится въ прекраснѣйшемъ расположеніи духа и не отходитъ отъ нихъ, или кошка, и тогда благодаря

ей окружающая тишина кажется еще глубже, такъ какъ она крадется вдоль полокъ съ книгами, точно стараясь стереть ихъ названія.

Если бы этого было достаточно! Иногда у меня является желаніе купить себѣ такую заваленную всякимъ хламомъ лавченку и засѣсть въ ней съ собакой лѣтъ на двадцать.

Хорошо громко произнести: «ничего не случилось». И еще разъ повторить: «ровно ничего не случилось», но чему это поможетъ? То, что печка опять надымилась, и мнѣ пришлось изъ-за нея уйти гулять, вѣдь, не несчастье какое-нибудь? Что чувствую себя уставшимъ и простуженнымъ, и это еще ровно ничего не значить. Что я цѣлый день пробѣгалъ по улицамъ—моя собственная вина. Я могъ бы съ такимъ же успѣхомъ просидѣть въ Louvre'ѣ. Или нѣтъ, этого я не могъ бы сдѣлать—тамъ всегда есть люди, отправляющіеся туда грѣться. Они садятся на бархатныя банкетки, и ноги ихъ, словно громадные пустые сапоги, стоятъ рядами на рѣшеткахъ отопленія. Все это люди крайне скромные: они и за то благодарны, что лакеи въ темныхъ ливреяхъ и съ множествомъ орденовъ какъ бы не замѣчаютъ ихъ. Но когда я вхожу, они ухмыляются. Ухмыляются и слегка киваютъ. И потомъ, когда я начинаю прогуливаться

взадъ и впередъ передъ картинами, они не спускаютъ съ меня глазъ, ни на минуту не спускаютъ, все время слѣдятъ сплывшимися, точно переболтанными, глазами. Слѣдовательно, я хорошо сдѣлалъ, что не пошелъ въ Лувръ. И все время, не переставая, ходилъ. Одному небу извѣстно, въ какихъ только городахъ, кварталахъ, кладбищахъ, проходахъ и мостахъ я не перебивалъ. Гдѣ-то видѣлъ человѣка, толкавшего передъ собою тачку съ овощами. Онъ кричалъ: chou-fleur, chou-fleur, при чемъ fleur тянулъ какъ-то необычайно тухло. Рядомъ съ нимъ шла безобразная, угловатая женщина, время отъ времени дававшая ему пинокъ: Тогда всякій разъ онъ принимался снова выкрикивать; иногда, впрочемъ, кричалъ и по своему личному усмотрѣнію, но тогда всякій разъ это оказывалось ненужнымъ, и сейчасъ же вслѣдъ за этимъ ему приходилось снова кричать, такъ какъ они равнялись съ домомъ, гдѣ у нихъ были покупатели. Упомянулъ ли я, что онъ былъ слѣпъ? Нѣтъ? Ну такъ вотъ, онъ былъ слѣпъ. Слепъ и кричалъ. Утверждая это, я хитрю, умалчиваю о тачкѣ, что онъ подталкивалъ впередъ, то-есть, дѣлаю видъ, будто не замѣтилъ, что онъ выкрикивалъ цвѣтную капусту. Но развѣ же это важно? И если бы было важно, то развѣ дѣло не въ томъ, какое все это имѣло значеніе для меня? Я же видѣлъ слѣпого старика, и старикъ этотъ кричалъ. Вотъ это я видѣлъ. Да, видѣлъ.

Повѣрятъ ли мнѣ, что существуютъ такіе дома? Нѣтъ, скажутъ, что сочиняю. Но на этотъ разъ все правда, я ни о чемъ не умалчиваю и, конечно, ничего не прибавляю. Да и какъ мнѣ выдумать все это? Вѣдь, всѣ знаютъ, что я бѣденъ, это извѣстно. Дома? Но, чтобы быть точнымъ, надо замѣтить, что это были дома, которые уже болѣе не существовали. Дома, которые снесли, разломали сверху до низу. А дѣйствительно существовали другіе, что стояли рядомъ, высокіе, сосѣдніе. Очевидно, съ тѣхъ поръ, какъ разрушили то, что стояло бокъ-о-бокъ съ ними, имъ грозила опасность рухнуть, потому что цѣлый лѣсъ длинныхъ, осмоленныхъ, мачтовыхъ деревъ подпиралъ обнаженную стѣну; однимъ концомъ они упирались въ предназначавшійся подъ стройку и покрытый щебнемъ пустырь, другимъ—въ стѣну дома. Я не помню, говорилъ ли я уже, что рѣчь идетъ именно объ этой стѣнѣ. Но не о первой стѣнѣ еще существующаго дома (что казалось бы совсѣмъ понятнымъ), но о послѣдней прежняго. Было видно ея внутреннюю сторону. Въ разныхъ этажахъ обозначались мѣста, гдѣ стояли раньше комнатныя перегородки, и на нихъ клочьями висѣли обои, кое-гдѣ виднѣлись остатки пола или потолка. Вдоль комнатныхъ перегородокъ, во всю длину стѣны, уцѣлѣло еще какое-то грязное, выбѣленное пространство, а по немъ, съ несказанно-отвратительными,

мягкими, червообразными, равномерно заворачивающимися движеніями сползала внизъ обнаженная, ржавая труба для стока нечистотъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ по краямъ потолковъ когда-то проходили газовыя трубы, виднѣлись сѣрые, пыльные слѣды; они то тутъ, то тамъ совершенно неожиданно закругляясь, поворачивали назадъ и доходили до безжалостно пробитой въ стѣнѣ дыры. Но менѣе всего можно было забыть самыя стѣны. Цѣпкая жизнь комнатъ не поддавалась уничтоженію, она еще держалась въ нихъ, держалась въ забитыхъ гвоздяхъ, хоронилась въ обломкахъ половъ, шириною въ ладонь, ютилась въ углахъ, гдѣ какъ будто еще немного сохранился видъ внутренности комнатъ, хотя и притулившійся. Чувствовалась эта жизнь и въ окраскѣ, которая медленно, годъ за годомъ, измѣнялась—синяя въ зелень плѣсени, зеленая въ сѣрый, а желтая въ бѣлый цвѣтъ старой отстоявшейся гнили. Сквозила она и въ болѣе свѣжихъ, еще сохранившихся мѣстахъ, гдѣ висѣли зеркала или картины, и за шкапами; и потому, что эти мѣста приняли очертанія тѣхъ вещей, и потому, что были покрыты пылью и паутиной, они выступали теперь точно обнаженные. Она чувствовалась въ каждой вытертой полосѣ, въ сѣрыхъ пузыряхъ на нижнемъ краю обоевъ, шевелилась въ ободранныхъ клочьяхъ, проступала отвратительными пятнами, давнымъ давно образовавшимися. И эти

бывшія когда-то голубыми, зелеными и желтыми стѣны, обрамленныя линіями выломанныхъ перегородокъ, выдыхали спертый, неподвижный, застоявшійся воздухъ тѣхъ жизней, что вѣтеръ не успѣлъ еще развѣять около нихъ. Въ воздухѣ носились и болѣзни, и обѣды; и то, что выдыхали люди, и многолѣтній дымъ, и потъ, что выступаетъ подъ мышками и дѣлаетъ платья тяжелыми, прѣсный запахъ изо рта и прогорклый ножного пота, начинающаго бродить. Чувствовалась острота урины, и чадъ, и сѣрыя испаренія картофеля, и тяжелая, скользящая вонь порченного сала. И еще тамъ былъ сладкій, липкій запахъ грудныхъ дѣтей, за которыми плохо ходятъ, и запахъ боязни дѣтей, посѣщающихъ школу, и удушливый запахъ кроватей мальчиковъ-подростковъ, вступающихъ въ возрастъ половой зрѣлости. И къ этому прибавилось еще многое, что поднималось въ видѣ испареній снизу, изъ пропасти улицы, и то, что еще сверху просочилось съ нечистымъ дождемъ, падающимъ надъ городами. А многое принесли съ собою тихіе, прирученные, домашніе вѣтры, никогда не выходящіе за предѣлы одной и той же улицы. И еще многое, — о чемъ нельзя было узнать, откуда оно взялось. Вѣдь, я, кажется, заявлялъ, что всѣ стѣны, исключая послѣдней, были снесены? Вотъ объ этой-то стѣнѣ я и говорю все время. Пожалуй, можно подумать, что я долго простоялъ передъ

нею; но я могу принести какую угодно клятву, что пустился бѣжать, какъ только узналъ ее. Потому что въ этомъ-то и ужасъ, что я узналъ ее. Я все узнаю здѣсь, оттого-то все такъ и происходитъ въ меня, все—во мнѣ у себя дома.

Послѣ всего видѣннаго, я чувствовалъ нѣкоторое утомленіе, даже можно сказать, изнеможеніе, а потому встрѣча съ нимъ оказалась мнѣ совсѣмъ не подъ силу. Я увидалъ его въ маленькой сгѣтѣ, куда зашелъ, чтобы скушать пару яицъ на сковородкѣ; я былъ голоденъ, такъ какъ за цѣлый день не удосужился поѣсть. Но и тутъ я не имѣлъ возможности проглотить хоть что-либо; не успѣли мнѣ приготовить яичницы, какъ меня снова потянуло на улицу, гдѣ мнѣ навстрѣчу двигался густой, тягучій людской потокъ. Потому что, вѣдь, была масленица, и вечеръ, и всѣ были свободны и шлѣлись по улицамъ, и терлись другъ о друга. И лица ихъ были ярко освѣщены огнями магазинныхъ выставокъ, и смѣхъ выливался изъ ихъ рта, точно гной изъ открытыхъ ранъ. Они смѣялись все больше и больше, и толкались тѣмъ сильнѣе, чѣмъ нетерпѣливѣе я старался пробраться впередъ. Какимъ-то образомъ я зацѣпился за платокъ какой-то женщины и потащилъ его за собою, и люди остановили меня и смѣялись; я

чувствовалъ, что и мнѣ слѣдуетъ смѣяться, но не могъ. Кто-то бросилъ мнѣ въ глаза горсть конфетти, и они обожгли меня, словно ударъ бича. На углахъ сплотились люди, и каждый какъ бы вдавливался въ другого, и уже болѣе не чувствовалось движенія впередъ, а лишь медленное, мягкое то подниманіе, то опусканіе людской массы, точно они спаривались стоя. Но хотя они стояли, я же, какъ безумный, бѣжалъ по краю улицы, гдѣ въ тѣснотѣ образовались трещины, но на самомъ дѣлѣ двигались они, а я не трогался съ мѣста. Потому что ничто не измѣнялось: когда я взглядывалъ наверхъ, то видѣлъ все тѣ же дома съ одной стороны, а на другой тѣ же магазинныя выставки. А можетъ быть, все было неподвижно, и лишь у нихъ и у меня кружилась голова, и отъ этого все точно вертѣлось во всѣ стороны. У меня не было времени обдумать все это, потому что мнѣ стало тяжело отъ пота и по всему тѣлу пробѣжала боль, отъ которой мутилось въ головѣ, точно вмѣстѣ съ кровью по жиламъ переливалось что-то громадное и растягивало ихъ. Помимо этого я чувствовалъ, что мнѣ давно не хватаетъ воздуху и что я вдыхаю въ себя то, что раньше самъ же выдохнулъ, и что легкія мои отказываются служить... Но теперь все прошло; я поборолъ это состояніе и сижу себѣ въ своей комнатѣ при свѣтѣ лампы; немного холодно, потому что я не

рѣшаюсь затопить печь—вдругъ она снова задымитъ, и мнѣ опять придется итти наружу? Сижу и думаю: не будь я бѣднякомъ, я нанялъ бы себѣ другую комнату, комнату съ менѣе потрепанной мебелью, которая не до такой бы степени носила слѣды пребыванія прежнихъ жильцовъ. Вначалѣ мнѣ было даже непріятно прислоняться головой къ спинкѣ кресла: на его обивкѣ, въ извѣстномъ мѣстѣ, ясно обозначалось зеленовато-сѣрое углубленіе, которое, повидимому, приходилось впору для всѣхъ головъ. Довольно долго я изъ предосторожности подкладывалъ подъ свою голову носовой платокъ, но теперь я черезъ-чуръ утомленъ, чтобы дѣлать это; я нашелъ, что и такъ хорошо и что небольшое углубленіе размѣромъ какъ разъ подходитъ къ моей головѣ, словно сдѣлано по мѣркѣ. Но, не будь я бѣднякомъ, я прежде всего купилъ бы себѣ хорошую печь и топилъ бы ее крѣпкими, чистыми дровами, что привозятъ съ горъ, а не этими противными *têtes des moineaux*, которые только чадятъ, вслѣдствіе чего стѣсняется дыханіе и въ головѣ становится смутно. И еще хорошо бы имѣть какого-нибудь умѣлаго человѣка для уборки комнаты, чтобы онъ дѣлалъ это безъ шума, умѣлъ развести огонь, какъ я люблю; потому что очень часто я расходую весь запасъ силъ на возню съ печью, и послѣ того, какъ съ четверть часа простою на колѣняхъ передъ ней, при чемъ кожа на

лбу вслѣдствіе близости жара напрягается, и пламя невыносимо жжетъ открытые глаза,—я, отправляясь въ толпу, понятно, не могу справиться съ нею, и ей уже легко овладѣть мною.

А иногда, въ случаѣ чрезчуръ большой толкотни, я бралъ бы экипажъ и катилъ себѣ мимо людей; еще я ежедневно обѣдалъ бы у одного изъ Дювалей..., а не таскался по какимъ-то сгѣмеріе... А онъ, бывалъ ли онъ у Дюваля? Нѣтъ. Тамъ онъ не можетъ поджидать меня. Туда не впускаютъ умирающихъ. Умирающихъ? Вотъ я сейчасъ нахожусь въ своей комнатѣ и могу спокойно обдумать, что со мною случилось. Хорошо ничего не оставлять невыясненнымъ. И такъ я вошелъ и въ первую минуту только и замѣтилъ, что столъ, за который я имѣлъ обыкновеніе садиться, занятъ кѣмъ-то другимъ. Сдѣлавъ поклонъ по направленію маленькаго буфета, я заказалъ себѣ поѣсть и сѣлъ рядомъ. Но тутъ я почувствовалъ, что сосѣдъ мой не двигается. Какъ разъ его неподвижность-то и почувствовалъ, и понялъ, что онъ оцѣпенѣлъ отъ ужаса. Я понималъ, что ужасъ заставилъ его окаменѣть, ужасъ отъ того, что происходило въ немъ самомъ. Можетъ быть, въ немъ разрывался какой-нибудь сосудъ, можетъ быть, какъ разъ въ эту минуту въ его сердце вступалъ ядъ, котораго онъ давно опасался; можетъ быть, въ его мозгу вскрывался громадный нарывъ, похожій на солнце, и отъ этого

въ его представленіи мѣнялся весь міръ. Съ неимовернымъ усиленіемъ заставилъ я себя взглянуть на него, такъ какъ все еще надѣялся, что мнѣ это лишь кажется. Но тутъ я вскочилъ и бросился вонъ, потому что убѣдился, что не ошибся. Онъ сидѣлъ въ толстомъ, зимнемъ, черномъ пальто, и уткнулся сѣрымъ, напряженнымъ лицомъ въ шерстяной шарфъ. Ротъ былъ закрытъ, точно онъ съ великимъ усиленіемъ сжалъ его, но опредѣлить, глядятъ ли его глаза, было невозможно: ихъ заслоняли запотѣвшія дымчатая стекла очковъ, слегка вздрагивавшихъ. Ноздри раздувались, а длинныя космы волосъ на вискахъ увядали, будто отъ чрезмѣрной жары. Уши у него были длинныя, желтыя и отбрасывали громадныя тѣни позади себя. Да, онъ сознавалъ, что въ эту минуту онъ отрѣшается не только отъ людей, но и отъ всего на свѣтѣ. Еще мгновенье—и все рѣшительно потеряетъ для него всякій смыслъ: и столъ, и чашка, и стулъ, за который онъ судорожно ухватился, все ежедневное и ближайшее станетъ непонятнымъ и чуждымъ, и тяжелымъ.. И онъ сидѣлъ и ждалъ, когда это случится. И болѣе не сопротивлялся.

А я вотъ еще сопротивляюсь. Я все еще борюсь, хотя знаю, что сердце мое обнажено, и я все равно не могу долѣе жить, хотя бы мучители мои и оставили меня сейчасъ въ покоѣ. Я говорю себѣ: ничего не случилось, и все же только потому

и въ состоянїи понять того человѣка, что и во мнѣ самомъ происходитъ что-то, что начинается отдалять меня отъ всего, отъ всего отрѣшаетъ. Какъ страшно мнѣ дѣлалось, когда при мнѣ говорили о какомъ-нибудь умирающемъ, который уже никого не узнавалъ: мнѣ тогда представлялось, какъ съ подушекъ приподнимается одинокое лицо и ищетъ глазами кого-нибудь знакомаго, чего-нибудь извѣстнаго, и ничего не находитъ. Не будь мой страхъ такъ великъ, я бы утѣшался мыслью, что вполне возможно смотрѣть на все это совсѣмъ другими глазами, нежели всѣ смотрятъ и... все-таки продолжать жить. Но я боюсь, ужасно боюсь этой перемѣны. Я, вѣдь, не совсѣмъ еще освоился съ нашимъ міромъ, кажушимся мнѣ прекраснымъ. Что же я буду дѣлать въ другомъ? Я бы такъ хотѣлъ остаться среди понятій, что стали мнѣ дороги, а если что-то обязательно должно измѣниться, то мнѣ, по крайней мѣрѣ, хотѣлось бы жить среди собакъ—у меня съ ними родственный міръ представленій и тѣ же предметы.

Еще нѣкоторое время я буду въ состоянїи высказываться и писать. Но настанетъ день, когда рука моя перестанетъ мнѣ повиноваться, и когда я захочу заставить ее писать, она начертаетъ слова, которыхъ я не думаю. Наступитъ время иныхъ постиженій, и не останется ни одного слова на мѣстѣ, и всякій смыслъ расплывется, какъ облако,

и водою прольется на землю. При всемъ страхѣ, я, въ концѣ концовъ, все-таки похожъ на человѣка, который стоитъ передъ чѣмъ-то необъятнымъ... Припоминаю, что и раньше я ощущалъ нѣчто подобное, раньше, чѣмъ началъ писать. Но на этотъ разъ я буду написанъ, ибо я—и есть впечатлѣніе, которое должно претвориться. О, не хватаетъ лишь очень немого, чтобы я все понялъ и все принять. Одинъ еще шагъ, и глубокое несчастье превратится въ блаженство. Но я не могу сдѣлать того шага, я упалъ и не могу больше подняться, потому что сломился. Я, вѣдь, все время надѣялся, что откуда-то можетъ явиться помощь. И вотъ то, о чемъ я молился ежедневно вечеромъ, лежитъ передо мною, написанное собственной рукой. Я списалъ это съ книги, въ которой нашелъ, чтобы оно стало мнѣ еще ближе, точно мое собственное, мной самимъ придуманное. Сейчасъ я перепишу это еще разъ, стоя на колѣняхъ передъ своимъ столомъ; хочу написать это именно такъ, потому что тогда переписка возьметъ больше времени, будто я перечитываю нѣсколько разъ молитву, и каждое слово просуществуетъ нѣкоторое время, и время же потребуется для того, чтобы оно отзвучало.

«Недовольный всѣми и недовольный собою, я хотѣлъ бы въ тишинѣ и ночномъ уединенїи понести искупленіе и немного подняться. Души

тѣхъ, кого я любилъ, и тѣхъ, кого я воспѣвалъ, укрѣпите меня, поддержите, удалите отъ меня ложь и развращающій чадъ міра; и Ты, Господь Богъ мой, даруй мнѣ милость написать нѣсколько хорошихъ стихотвореній, которыя доказали бы мнѣ самому, что я не послѣдній среди людей и не ниже тѣхъ, кого я презираю».

Дѣти неуравновѣшенныхъ и презрѣнныхъ людей, ничтожнѣйшихъ во всей странѣ. Отнынѣ я сталъ ихъ игрушкой и долженъ сдѣлаться сказкой.

...Они проложили путь черезъ меня.

...Было такъ легко повредить меня, что даже помощи имъ для этого не понадобилось.

..А теперь душа моя переполнилась и мною овладѣло жалкое время.

По ночамъ что-то сверлитъ внутри мои кости, а преслѣдующіе меня не ложатся спать.

Благодаря избытку силъ я принимаю все новые и новые образы и они обхватываютъ меня, словно пустота надѣтаго кафтана...

Внутренности мои кипятъ и не перестаютъ кипѣть; меня одолѣло жалкое время...

И арфа моя превратилась въ жалобу и плачемъ разразилась флейта...

Врачъ не понялъ, что со мною. Ничего не понималъ. Впрочемъ, вѣдь рассказывать было очень трудно. Рѣшили попробовать электризацію. Хорошо. Выдали мнѣ ярлыкъ и велѣли къ часу яви-

ться въ Salpetrière. Я явился. Пришлось долго идти мимо всякихъ бараконъ, проходить черезъ нѣсколько дворовъ, гдѣ тамъ и сямъ, подъ голыми деревьями, разгуливали люди въ бѣлыхъ чепцахъ, словно каторжники въ колпакахъ. Наконецъ, я очутился въ длинномъ, темномъ помѣщеніи, похожемъ на корридоръ, съ одной стороны котораго находилось четыре окна съ зеленовато-матовыми стеклами, отдѣленные другъ отъ друга широкими простѣнками. Подъ ними вдоль всей стѣны шла деревянная скамья, а на ней въ ожиданіи очереди сидѣли люди изъ числа тѣхъ, что признаютъ меня за своего. Да, они всѣ оказались въ сборѣ. Привыкнувъ къ полусвѣту, царившему въ помѣщеніи, я увидалъ, что среди тѣхъ, что безконечной цѣпью, плечо къ плечу сидѣли здѣсь, находятся люди и другого сорта—мелкіе ремесленники, служанки, ломовые извозчики. Съ узкой стороны корридора, на отдѣльныхъ стульяхъ, возсѣдали двѣ толстыя женщины, вѣроятно консержки, и разговаривали другъ съ другомъ. Я посмотрѣлъ на часы: безъ пяти часъ. Слѣдовательно, черезъ часъ, ну, скажемъ, десять минутъ очередь дойдетъ до меня и, стало быть, дѣло не такъ еще плохо. Только воздухъ здѣсь скверный, тяжелый, преисполненный платья и дыханья. Въ одномъ мѣстѣ въ дверную щель проникала силь-

ная и все возрастающая прохлада ээира. Я сталъ ходить взадъ и впередъ... Вдругъ мнѣ пришло въ голову, что вѣдь мнѣ назначено придти сюда въ общіе пріемные часы, когда бываетъ такое множество народу, явиться вмѣстѣ со всѣми этими людьми. Это было, такъ сказать, первымъ публичнымъ причисленіемъ меня къ міру отверженныхъ; да развѣ докторъ замѣтилъ что-нибудь во мнѣ? Но вѣдь я сдѣлалъ ему визитъ въ довольно приличномъ костюмѣ и послалъ свою визитную карточку. А вотъ, несмотря на это, онъ какъ-то догадался, а можетъ быть, я и самъ выдалъ себя. Ну, а теперь, когда фактъ совершился, я нахожу, что это не такъ уже плохо: люди эти сидятъ смиренно и не обращаютъ на меня никакого вниманія. Нѣкоторые изъ нихъ чувствуютъ боль и, чтобы облегчить свои страданія, раскачиваютъ ногу. Другіе мужчины, облокотившись головой на ладонь, крѣпко спали, причемъ выраженіе лицъ казалось тупымъ и отсутствующимъ. Одинъ толстякъ съ красной, распухшей шеей весь перегнулся впередъ, утѣпился въ землю и время отъ времени плевалъ постоянно въ одно и то же мѣсто, казавшееся ему подходящимъ для этого, и слюна его звучно шлепалась объ полъ. Въ одномъ углу плакалъ ребенокъ, длинныя, худыя ноги онъ подтянулъ къ себѣ на скамью и обхватилъ руками, точно прощаясь съ ними навсегда. Рядомъ, съ

тонкихъ губъ маленькой блѣдной женщины не сходила гримаса улыбки, тогда какъ глаза ея съ израненными вѣками не переставали ни на минуту слезиться; черная креповая шляпа, съ черными же круглыми цвѣтами, какъ-то криво сидѣла на ея головѣ.

По близости отъ нея посадили дѣвушку съ плоскимъ, гладкимъ лицомъ и выпученными, ровно ничего не выражающими глазами; ротъ у нея все время оставался открытымъ, а бѣлыя, осклизлыя десны съ попорченными губами, обнаженными. Было здѣсь и множество разныхъ повязокъ; одни, слой за слоемъ покрывали всю голову, такъ что единственно глаза оставались незакрытыми. И въ этихъ случаяхъ казалось, что они никому не принадлежатъ. Были тутъ повязки что-то скрывавшія, были и такія, что ясно указывали на то, что находится подъ ними. Нѣкоторые уже заранѣе разбинтовали свою перевязку и у нихъ среди тряпья, словно въ грязной кровати, покоилась то рука, уже болѣе не похожая на руку, а то вдругъ выдвигалась громадная, словно цѣлый человѣкъ, забинтованная нога и нарушала цѣльность ряда. Я ходилъ взадъ и впередъ и силился оставаться спокойнымъ. Внимательно осматрѣвъ противоположную стѣну, я замѣтилъ, что въ ней находится известное число одностворчатыхъ дверей и что она не доходитъ до потолка, такъ что нашъ корридоръ

оказывался не вполне отдѣленнымъ отъ комнатъ, находившихся съ нимъ рядомъ. Посмотрѣлъ на часы; уже часъ какъ я прогуливался взадъ и впередъ. Немного спустя явились врачи. Сначала прошло нѣсколько молодыхъ людей съ равнодушными физиономіями и, наконецъ, въ свѣтлыхъ перчаткахъ, *chapeau à huit reflets*, безукоризненномъ пальто, показался докторъ, у котораго я былъ. Увидавъ меня, онъ слегка приподнялъ шляпу и разсѣянно улыбнулся. У меня явилась надежда, что меня скоро позовутъ, но прошелъ цѣлый часъ, пока это случилось; какъ я его провелъ—не помню, но онъ прошелъ. Вошелъ старикъ въ запятнанномъ фартукѣ, похожій на сторожа, и дотронулся до моего плеча. Я вошелъ въ одну изъ ближайшихъ комнатъ. Врачъ и молодые люди сидѣли вокругъ стола и смотрѣли на меня. Мнѣ пододвинули стулъ. Такъ. И предложили рассказать, что въ сущности я испытываю. По возможности кратко, *s'il vous plait*, потому что господамъ докторамъ некогда. У меня на душѣ было какъ-то смутно. Молодые люди разсматривали меня съ высокомернымъ профессиональнымъ любопытствомъ, которому уже успѣли научиться. Знакомый мнѣ врачъ поглаживалъ свою заостренную бородку и разсѣянно улыбался. Мнѣ казалось, что я разражусь слезами, но вмѣсто того, я вдругъ произнесъ по-французски: «Я уже имѣлъ честь, государь мой, сообщить вамъ

всѣ свѣдѣнія, какія могу дать. Если вы находите нужнымъ посвятить во все этихъ господъ, то, вѣроятно, послѣ нашего разговора сумѣете сдѣлать это въ немногихъ словахъ, тогда какъ для меня это очень затруднительно». Врачъ съ вѣжливой улыбкой всталъ, отошелъ съ ассистентами къ окну и произнесъ нѣсколько словъ, сопровождая ихъ горизонтальнымъ, волнообразнымъ движеніемъ руки. Минуты три спустя, одинъ изъ молодыхъ людей, повидимому близорукій и вспыльчивый, вернулся ко мнѣ и спросилъ, стараясь какъ можно строже смотрѣть на меня: «Вы хорошо спите, милостивый государь?» — «Нѣтъ, плохо». Тогда онъ снова отошелъ къ группѣ у окна. Потолковавъ еще немного, врачъ повернулся ко мнѣ и сообщилъ, что когда будетъ нужно, меня позовутъ. Я напомнилъ ему, что мнѣ назначено придти къ часу. Онъ улыбнулся и продѣлалъ своими маленькими, бѣлыми руками нѣсколько скачкообразныхъ, быстрыхъ движеній, означавшихъ, что онъ страшно занятъ.

И мнѣ снова пришлось отправиться въ свой коридоръ, гдѣ воздухъ за это время сталъ еще болѣе спертымъ, и снова принялся прогуливаться взадъ и впередъ, хотя чувствовалъ себя смертельно уставшимъ. Кончилось тѣмъ, что затхлый запахъ сырости вызвалъ во мнѣ головокруженіе, я подошелъ къ входной двери и немного приотворилъ ее. Тутъ

я убѣдился, что день еще не кончился и солнышко еще не садилось; это подѣйствовало на меня чрезвычайно благотворно. Но не простоялъ я и минуты, какъ услыхалъ, что меня окликнули. Какая-то особа женскаго пола, сидѣвшая у крохотнаго столика, въ двухъ шагахъ отъ дверей, зашипѣла на меня:—«Съ чего это вы вздумали растворять двери?» Я отвѣтилъ, что не въ состояніи выносить подобнаго воздуха.—«Хорошо, это ваше дѣло, но дверь должна оставаться закрытой.»—«Нельзя ли въ такомъ случаѣ открыть окно?»—«Нѣтъ, это запрещено.» Я рѣшилъ снова приняться за хожденіе, потому что оно дѣйствовало на меня вродѣ наркоза и никому не мѣшало. Но особѣ за маленькимъ столомъ теперь и это не нравилось.—«Неужели у васъ нѣтъ мѣста?»—«Нѣтъ, у меня его нѣтъ.»—«Но хожденіе по корридору не дозволяется, вы должны раздобыть себѣ мѣсто; навѣрное гдѣ-нибудь найдется». Женщина была права: дѣйствительно, мѣсто сейчасъ же нашлось—рядомъ съ дѣвушкой съ выпученными глазами. И вотъ я очутился на скамейкѣ и мнѣ казалось, что это лишь подготовка къ чему-то ужасному. Слѣва, слѣдовательно, была дѣвушка съ гніющими деснами; а кто сидѣлъ справа отъ меня, я успѣлъ разглядѣть лишь нѣкоторое время спустя. Это была какая-то громадная, неподвижная масса, съ лицомъ и громадной, неподвижной рукой. Та сторона лица, которую я видѣлъ, казалась

какой-то совсѣмъ пустой, безъ чертъ, безъ воспоминаній. Становилось какъ-то жутко, оттого что одежда на немъ сидѣла, словно на покойникѣ, котораго обрядили, чтобы положить въ гробъ; узкій, черный галстукъ такъ же свободно и такъ же какъ-то безразлично, какъ и у мертвецовъ, проходилъ вокругъ воротника, и ясно чувствовалось, что и сюртукъ на это безжизненное тѣло натянулъ кто-то посторонній. Даже и рука, вѣроятно, была кѣмъ-то положена на панталоны, на то самое мѣсто, на которомъ находилась и сейчасъ; даже волосы, и тѣ казались расчесанными женщинами, которыя омывають трупы, приглаженными, подобно шерсти у набитыхъ чучелъ. Я внимательно разсмотрѣлъ все это и меня поразило, что мнѣ, слѣдовательно, и предназначалось именно это мѣсто, и тогда мнѣ стало казаться, что я наконецъ достигъ того пункта своей жизни, на которомъ мнѣ суждено оставаться. Да, иногда судьба людей бываетъ просто необычайна!

Вдругъ, совсѣмъ близко, раздались быстро слѣдовавшіе одинъ за другимъ испуганные крики, мольбы о пощадѣ, смѣнившіяся тихимъ, сдержаннымъ, дѣтскимъ плачемъ. Пока я силился догадаться, откуда они несутся, снова прозвѣлъ и замеръ короткій, подавленный крикъ и я услыхалъ, какъ одинъ голосъ что-то спрашивалъ, а другой отдавалъ какое-то приказаніе; вслѣдъ затѣмъ бы-

ла пущена въ ходъ какая-то машина и та зашуршала безстрастно, ни на что не обращая вниманія... Тогда я вспомнилъ, что перегородка не доходитъ до потолка и, слѣдовательно, эти звуки доносятся изъ-за дверей въ ней, и тамъ же люди надъ чѣмъ-то работаютъ. И дѣйствительно, время отъ времени оттуда выходилъ сторожъ въ запятнанномъ фартукѣ и кому-нибудь изъ присутствующихъ дѣлалъ знакъ. Я уже пересталъ раздумывать, не относятся ли эти знаки ко мнѣ. Да развѣ они предназначались мнѣ? Нѣтъ. Наконецъ, появилось двое мужчинъ съ кресломъ на колесикахъ. Они посадили въ него безжизненную массу, сидѣвшую рядомъ со мною, и тутъ только я разглядѣлъ, что это старикъ разбитый параличемъ; у него оказывалась еще вторая половина лица, тоже поношенная жизнью, но меньше по размѣру и съ открытымъ, мутнымъ, грустнымъ взглядомъ. Они покатали его за перегородку и возлѣ меня оказалось очень много пустого пространства. Я сидѣлъ и думалъ о томъ, что они будутъ дѣлать съ дѣвушкой-идіоткой, сидящей рядомъ со мною, и будетъ ли она кричить? Машины за перегородкой мурлыкали такъ пріятно-равномѣрно, точно на фабрикѣ, и въ этомъ шумѣ не было ничего тревожнаго.

Вдругъ все смолкло и среди тишины раздался немного покровительственный, самодовольный голосъ, показавшійся мнѣ знакомымъ.

— Riez!—Молчаніе. «Riez! Mais riez, riez!»—Я уже хохоталъ. Казалось совершенно непонятнымъ, почему человѣкъ, находившійся въ той комнатѣ, не хотѣлъ смѣяться. Слышно было, заработала какая-то машина, но тотчасъ же опять остановилась; кто-то обмѣнивался словами и потомъ тотъ же энергичный голосъ снова приказалъ: «Dites nous le mot—avant» и потомъ повторилъ по складамъ: „A-v-a-nt“. Тишина. „On n’entend rien“ и „Encore une fois»...

И потомъ, когда за перегородкой кто-то тепло и неразборчиво промямлилъ какое-то слово, почему напоминавшее ноздреватую губку, тогда впервые послѣ многихъ, многихъ лѣтъ оно снова появилось во мнѣ. Появилось то, что внушило мнѣ первый, глубокий ужасъ тогда, когда я ребенкомъ лежалъ въ бреду—чувство громадности. Да я и тогда всякій разъ отвѣчалъ собравшимся вокругъ моей кровати роднымъ, щупавшимъ мнѣ пульсъ и спрашивавшимъ, что собственно меня испугало—«громаднос». И когда они призывали доктора и тотъ являлся и начиналъ уговаривать меня—я просилъ его лишь объ одномъ: сдѣлать такъ, чтобы не являлось то «громадное»; все же остальное казалось мнѣ пустяками. Но докторъ оказывался, какъ и всѣ—не въ состояніи прогнать его, хотя въ то время я былъ еще ребенкомъ, и помочь мнѣ казалось бы было не трудно. А теперь оно снова появилось.

Тогда, съ годами, исчезло само собою, даже не возвращалось, когда я болѣлъ лихорадкой, а теперь вотъ появилось, несмотря на то, что нѣтъ жара. Теперь снова явилось. И выпирало изъ меня, точно опухоль, точно вторая голова, и становилось частью меня самого, хотя и не принадлежало мнѣ, потому что было до того громадно. Оно существовало, существовало какъ громадное, мертвое животное, бывшее когда-то, еще при жизни, моей рукой или кистью руки. И кровь моя переливалась во мнѣ и проходила черезъ это нѣчто, какъ черезъ одно и то же тѣло. И сердцу приходилось дѣлать громадное усиліе, чтобы наполнить кровью и то «громадное»: казалось, ея не хватаетъ для него, и она неохотно шла въ него и оттуда, возвращается испорченной и больной. Но «громадное» росло и словно темносиняя шишка заслоняло мое лицо и меня самого, заслоняло ротъ, и тѣнь отъ его юая ложилась и на мой послѣдній глазъ. Не припомню ужъ, какимъ образомъ я, пройдя безконечное число какихъ-то дворовъ, выбрался на волю. Вечерело, и я заблудился въ незнакомомъ мѣстѣ; шель я все въ одну и ту же сторону, вверхъ по бульварамъ съ безконечными стѣнами по бокамъ, а когда имъ все не было и не было конца, повернулъ назадъ и пошелъ въ противоположную сторону до какой-то площади. Тамъ я свернулъ въ какую-то улицу, никогда мною невиданную, а потомъ въ другую.

Иногда мимо мчались черезчуръ ярко освѣщенные электрички съ жесткими, какъ толчки, звонками; онѣ приближались и удалялись. Но на ихъ дощечкахъ стояли названія неизвѣстныхъ мнѣ улицъ. Я не признавалъ, въ какомъ нахожусь городѣ, есть ли у меня въ немъ хоть какое-нибудь пристанище, и что мнѣ сдѣлать, чтобы не быть вынужденнымъ идти все дальше и дальше.

Вдобавокъ ко всему еще эта болѣзнь, всегда такъ странно проявлявшаяся у меня. Я увѣренъ, что ей придаютъ слишкомъ мало значенія, тогда какъ преувеличиваютъ значеніе другихъ. У этой болѣзни нѣтъ какихъ-либо присущихъ только ей одной признаковъ,—нѣтъ, она впитываетъ въ себя всѣ особенности человѣка, котораго поражаетъ. Съ ясновидѣніемъ сомнамбула она догадывается, въ чемъ заключается для него наибольшая опасность; можетъ быть, самъ человѣкъ считаетъ, что уже преодолѣлъ ее, а она снова ставитъ его лицомъ къ лицу съ нею, надвигаетъ ее на него близко, близко и обрушиваетъ уже въ ближайшій моментъ. Мужчины, что когда-то, въ школѣ еще, поддавались пороку, орудіемъ котораго бываютъ бѣдныя, жесткія руки мальчиковъ, снова возвращаются къ нему; или же болѣзни, перенесенныя въ дѣтствѣ, снова овладѣваютъ нами; или опять возобновляется какая-нибудь утраченная привычка, которая владѣла нами нѣсколько лѣтъ тому назадъ, ка-

кое-нибудь нерѣшительное поворачиваніе головы,— и вмѣстѣ съ этимъ всплываетъ на поверхность цѣлая куча смутныхъ воспоминаній, совершенно опутывающихъ человѣка, какъ мокрая водоросли опутываютъ затонувшую вещь. Внезапно со дна души поднимаются переживанія, о существованіи которыхъ никогда и не подозрѣвалъ бы, переплетаются съ тѣмъ, что дѣйствительно происходило и вытѣсняють прошедшее, считавшееся столь извѣстнымъ; потому что въ томъ, что поднимается со дна, заключается свѣжая, застоявшаяся сила, а то, что находилось на поверхности, уже поистрепалось отъ слишкомъ частыхъ воспоминаній.

И лежу я себѣ въ своей кровати, на пятомъ этажѣ, и день для меня подобенъ циферблату безъ стрѣлокъ, такъ какъ ничто не подраздѣляетъ его на части. Случается иногда, что вещь, считавшаяся долгое время утраченной, вдругъ въ одну прекрасное утро оказывается въ цѣлости и сохранности, на своемъ прежнемъ мѣстѣ и даже имѣетъ видъ болѣе новый, нежели въ моментъ пропажи, точно находилась гдѣ—нибудь для подновленія,—такъ и на моемъ одѣялѣ то тутъ, то тамъ, вдругъ оказывается какое-нибудь затерянное воспоминаніе дѣтства и при томъ еще совершенно свѣжее. Всѣ позабытые страхи оказываются снова налицо. Вдругъ является боязнь,

что крохотная шерстинка, торчащая изъ края одѣяла, ужасно жестка, жестка и остра, какъ стальная игла; или страхъ, что небольшая пуговица на ночной сорочкѣ окажется больше моей собственной головы,—больше и тяжелѣе; или почувствуешь опасеніе, что крошка хлѣба, что слетаетъ съ постели, окажется стеклянной и, падая, разобьется вдребезги; и къ этому присоединяется еще томительное безпокойство за то, что вмѣстѣ съ нею разлетится на куски въ сущности все,—все—и на всегда; или боязнь, что распечатанное письмо заключаетъ въ себѣ что-нибудь недозволенное, чего никому нельзя знать и въ то же время до того драгоценное, чего и описать невозможно, для чего во всей комнатѣ нельзя найти достаточно безопаснаго убѣжища; или еще, что если я засну, то въ сонномъ состояніи проглочу кусокъ лежащаго передъ печью угля; испугъ того, что какая-нибудь цифра можетъ начать расти въ моемъ мозгу, расти до тѣхъ поръ, пока для нея уже не будетъ хватать въ немъ мѣста; боязнь, что я лежу на гранитѣ, сѣромъ гранитѣ; боязнь, что начну кричать и люди сбѣгутся къ моимъ дверямъ и кончится тѣмъ, что выломають ихъ, страхъ, что выдамъ себя и разболтаю о томъ, чего боюсь... и боязнь, что ничего не скажу потому, что ничего нельзя выразить словами... и еще другіе страхи... безконечное множество страховъ.

Я молился, чтобы вернулось мое дѣтство и оно пришло ко мнѣ, и чувствую я, что оно и теперь такое же тяжелое, какъ и тогда, и что то, что я сталъ старше, ничего въ сущности не измѣнило.

Вчера лихорадка спала и сегодняшний день начинается какъ весна, весна въ картинахъ. Хочу попробовать сходить къ своему поэту въ національную библіотеку—я такъ давно уже не читалъ его; а послѣ я, можетъ быть, буду въ состояніи тихонько пройтись по садамъ... можетъ быть, надъ большимъ прудомъ съ самой, что ни на есть, настоящей водой, потянетъ теплымъ вѣтеркомъ и гуляющія дѣти будутъ спускать на него кораблики съ красными парусами и любоваться ими.

Я не ожидалъ, что сегодня со мною случится что-нибудь подобное,—вышелъ я изъ дому такимъ бодрымъ, точно это для меня самая обыкновенная и естественная вещь. И все-таки случилось нѣчто такое, что смяло меня, словно бумаженку какую-то, и выбросило изъ колен; а случилось нѣчто неслыханное.

Бульваръ Сентъ-Мишель казался пустымъ и тянулся въ безконечную даль; идти по его пологому склону было очень легко. Вверху со стекляннымъ звономъ распахнулось окно и блескъ его бѣлой птицей перепорхнулъ черезъ улицу. Мимо меня прокатилъ экипажъ съ свѣтло-красными колесами; а дальше, нѣсколько ниже по улицѣ, кто-то пронесъ

что-то свѣтло-зеленое. По чистой и темной отъ поливки мостовой бѣжали лошади въ блестящей упряжи. Вѣтеръ казался взволнованнымъ, новымъ, нѣжнымъ.... Запахи, зовы, колокольный звонъ,—все понималось къ верху. Я проходилъ мимо одного изъ тѣхъ кафе, въ которыхъ по вечерамъ играетъ оркестръ поддѣльных красныхъ цыганъ. Изъ открытыхъ оконъ, вмѣстѣ съ нечистой совѣстью, вырывался испортившійся за ночь воздухъ. Гладко причесанные кельнера чистили полъ близъ входа. Одинъ изъ нихъ стоялъ нагнувшись и пригоршню за пригоршней бросалъ желтоватый песокъ подъ столъ. Одинъ изъ товарищей, проходя мимо, толкнулъ его въ бокъ и показалъ внизъ по улицѣ. Кельнеръ поднималъ къ верху совершенно раскраснѣвшееся лицо и нѣкоторое время пристально смотрѣлъ въ ту сторону; потомъ по его щекамъ, лишеннымъ растительности, расплылась улыбка, точно ее вылили на его фizioномію. Онъ нѣсколько разъ быстро поворачивалъ смѣющееся лицо справа налѣво, чтобы созвать всѣхъ кельнеровъ и въ тоже время самому ничего не прозвѣвать. Наконецъ, всѣ они столпились у дверей и стали смотрѣть въ томъ направленіи: одни съ улыбкой, стараясь разглядѣть, что тамъ, другіе съ досадой, что не видятъ ничего смѣшного.

Я почувствовалъ, что во мнѣ зашевелился

страхъ. Что-то заставило меня перейти на противоположную сторону улицы и ускорить шаги и въ то же время невольно всматриваться въ не многочисленныхъ прохожихъ впереди себя; но я не находилъ въ нихъ ничего особеннаго. Тутъ я замѣтилъ, что мальчикъ для побѣгушекъ, въ синемъ фартукѣ и съ корзиной на плечахъ, остановился и смотритъ кому-то вслѣдъ. Насмотрѣвшись вдоволь, онъ повернулся къ домамъ и, глядя на смѣющагося приказчика, быстрымъ движеніемъ поднесъ руку ко лбу—жестъ всѣмъ понятный.

Потомъ онъ довольно сверкнулъ черными глазами и раскачивающейся походкой подошелъ ко мнѣ. Я ожидалъ, что, какъ только ничто не будетъ загораживать мнѣ впереди улицы, я увижу какую-нибудь необыкновенную, бросающуюся въ глаза фигуру; но оказалось, что впереди никого не было, кромѣ худого, большого человѣка въ темномъ пальто и черной мягкой шляпѣ на короткихъ безцвѣтно-бѣлокурыхъ волосахъ.

Я убѣдился, что ни въ одеждѣ, ни въ поведеніи этого человѣка нѣтъ ничего смѣшнаго, и уже хотѣлъ отвести отъ него глаза и посмотреть дальше внизъ по бульвару, когда онъ вдругъ обо что-то споткнулся. Такъ какъ я слѣдовалъ за нимъ на близкомъ разстояніи, то принялъ мѣры предосторожности, чтобы и самъ не споткнуться

на томъ же мѣстѣ, но, дойдя до него, увидаль, что тамъ ровно ничего нѣтъ. И оба мы продолжали подвигаться впередъ, при чемъ разстояніе между нами оставалось все то же. Такимъ образомъ мы дошли до перехода черезъ поперечную улицу и тутъ человѣкъ, шедшій впереди меня, чтобы спуститься со ступеней тротуара, сталъ продѣлывать какіе-то неувѣренные прыжки; это было похоже на то, какъ подпрыгиваютъ дѣти, стоя на мѣстѣ, когда чему-нибудь обрадуются. Добравшись до противоположной стороны поперечной улицы, онъ поднялся на тротуаръ однимъ длиннымъ шагомъ. Но очутившись на верху слегка поднѣмъ ногу, а на другой подпрыгнулъ одинъ разъ высоко, а затѣмъ еще разъ пониже. Можно было бы приписать эти внезапныя подпрыгиванія тому, что онъ споткнулся, но для этого нужно было внушить себѣ, что тамъ валяется какая-нибудь мелочь, ну, хоть косточка, или скользкая кожура какого-нибудь плода, хоть что-нибудь; странно было и то, что самъ человѣкъ, повидимому, думалъ, что ему дѣйствительно попало подъ ноги какое-то препятствіе, потому что онъ всякій разъ послѣ подпрыгиванія взглядывалъ на то мѣсто не то съ досадой, не то съ упрекомъ, какъ всѣ люди въ такихъ случаяхъ. И снова я почувствовалъ не то предостереженіе, не то указаніе на то, что мнѣ слѣдуетъ перейти

на другую сторону улицы, но я опять не послушался этого голоса и продолжалъ идти позади челоуѣка, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдя за его ногами. Долженъ сознаться, что почувствовалъ страшное облегченіе, когда онъ прошелъ шаговъ двадцать, а странное подпрыгиваніе не повторилось. Но когда я послѣ этого поднялъ глаза, то увидалъ, что съ челоуѣкомъ впереди меня приключилась новая бѣда: воротникъ его пальто поднялся къ верху и какъ онъ ни старался то одной рукой, то другой поправить его, ему это не удавалось. Это бываетъ. И меня не это безпокоило. А то, что вскорѣ затѣмъ я съ безграничнымъ удивленіемъ замѣтилъ какую-то двойственность въ движеніяхъ рукъ челоуѣка. Одно тайное, быстрое, которымъ онъ незамѣтно все время поднималъ къ верху свой воротникъ и другое длительное, подробное, равномерно преувеличенное, словно сложенное по складамъ, которое, якобы, производилось съ цѣлью приведенія въ порядокъ того же воротника. Это наблюденіе до того смутило меня, что прошло почти двѣ минуты, пока я понималъ, что и мускулы шеи за поднятымъ воротникомъ, и нервно копошащіяся руки этого челоуѣка, одержимы ужаснымъ двутактнымъ подергиваніемъ, которое только что перекатилось въ ноги. И съ этого момента я почувствовалъ себя неразрывно связаннымъ съ нимъ. Я понялъ, что это вздраги-

ванье блуждаетъ по всему его тѣлу и старается прорваться то тутъ, то здѣсь. Я понялъ его страхъ передъ людьми и самъ началъ осторожно озираться по сторонамъ, чтобы убѣдиться замѣчаютъ ли что-нибудь прохожіе. Точно холодная игла вонзилась мнѣ въ спину, когда ноги его неожиданно снова сдѣлали маленькій, судорожный прыжокъ; но его никто не замѣтилъ, а я рѣшилъ, что мнѣ слѣдуетъ тоже слегка споткнуться. И если кто-нибудь обратилъ на него вниманіе, навѣрное, это оказалось хорошимъ способомъ убѣдить любопытныхъ, что на дорогѣ дѣйствительно находится какое-то незначительное препятствіе, на которое мы оба натолкнулись. Но пока я раздумывалъ, какимъ бы образомъ придти къ нему на помощь, онъ самъ нашелъ новый и прекрасный выходъ. Я забылъ отмѣтить, что въ рукахъ у него была палка, простая палка изъ темнаго дерева съ закругленной ручкой. И въ боязливыхъ поискахъ чѣмъ-нибудь замаскировать свои подергиванія, ему пришло въ голову, одной рукой (другая могла еще на что-нибудь понадобится) прижать эту палку къ своей спинѣ, къ самому хребту, прижать покрѣпче, а закругленный конецъ ея засунуть за воротникъ, такъ, чтобы она служила опорой шейному и первому спинному позвонку. Такой жестъ не могъ броситься въ глаза; самое большее, если его сочли бы нѣсколько развязнымъ,

но чудный весенний день какъ бы извинялъ это. Никому не приходило и въ голову оглядываться и все шло какъ слѣдуетъ. Шло превосходно. Правда, при слѣдующемъ переходѣ черезъ улицу, снова проскользнули два прыжка, маленькихъ, полускрытыхъ, не имѣвшихъ ровно никакого значенія, а одинъ дѣйствительно замѣтный прыжокъ былъ выполненъ до того искусно—посреди дороги, какъ разъ тамъ, гдѣ лежала кишка для поливки улицы, что нечего было опасаться. Да, пока все шло прекрасно; иногда и вторая рука хваталась за палку и помогала сильнѣе прижимать ее къ спинѣ, и опасность тотчасъ же оказывалась предотвращенной. Но, несмотря ни на что, я не могъ совладать съ собою и страхъ мой постепенно возрасталъ. Я зналъ, что въ то время, какъ онъ шелъ, дѣлая неимоверныя усилія казаться равнодушнымъ и беззаботнымъ, ужасное подергиваніе въ его тѣлѣ собиралось съ силами. И, по мѣрѣ того, какъ желаніе подпрыгнуть становилось въ немъ все непреодолимѣе и онъ все съ большимъ страхомъ цѣплялся за свою палку,—мои опасенія за него также все сильнѣе овладѣвали мною. Но въ то же время выраженіе рукъ его стало до того неумолимо-строгимъ, что я возложилъ всю надежду на силу его воли, которая, очевидно, была не изъ дюжинныхъ. Но что могла здѣсь подѣлать воля? Неизбѣжно долженъ былъ наступить моментъ,

когда силы исчерпаются, и моментъ этотъ, вѣроятно, былъ ужъ недалекъ. Я же, слѣдуя за нимъ съ бьющимся сердцемъ, копилъ свои крохотныя силенки, точно скупецъ гроши, и, глядя на его руки, мысленно молилъ его принять ихъ, если онѣ могутъ ему быть пригодными.

Я думаю, что онъ принялъ бы ихъ; не моя вина, что у меня ихъ оказалось такъ мало.

На площади Сентъ-Мишель скопилось множество экипажей, и взадъ и впередъ сновала масса народу. Нерѣдко мы съ нимъ оказывались между двумя экипажами; тогда онъ вздыхалъ, на короткое время давалъ себѣ передышку и, какъ бы въ видѣ отдыха, слегка подпрыгивалъ на мѣстѣ и кивалъ головой. А, можетъ быть, временно подавленная болѣзнь хотѣла съ помощью хитрости всецѣло овладѣть имъ. Благодаря ей, волѣ грозила опасность съ двухъ сторонъ,—послѣ кратковременнаго отдыха въ больныхъ мускулахъ оставалось тихое, заманчивое воспоминаніе о немъ и властная потребность двухтактнаго подпрыгиванія. Но палка все оставалась на прежнемъ мѣстѣ и лишь руки, казалось, были недовольны и сильно гнѣвались; въ такомъ состояніи мы вступили на мостъ и все кое-какъ шло еще. Да, шло кое-какъ. Но тутъ въ походкѣ появилось что-то невѣрное, онъ бѣгомъ сдѣлалъ два шага и затѣмъ остановился. Постоялъ. Лѣвая рука медленно отдѣлилась

отъ палки и до того тихо стала подниматься вверхъ, что я видѣлъ, какъ она дрожала въ воздухѣ; шляпу онъ немного сдвинулъ на затылокъ и провелъ рукой по лбу, затѣмъ слегка повернулъ голову; взглядъ его, ничего не видя, скользнулъ по небу, по домамъ, по водѣ, и затѣмъ онъ поддался... Палка выпала, руки онъ распростеръ въ воздухѣ, будто собираясь взлетѣть, въ немъ точно сила какая-то прорвалась наружу и она, эта сила, перегнула его впередъ, рванула назадъ и заставила сгибаться и кивать; сила эта швыряла его изъ стороны въ сторону, точно онъ танцевалъ среди толпы; его уже окружили и мнѣ уже не было его видно. Какой же смыслъ былъ идти мнѣ дальше? Я чувствовалъ себя совершенно опустошеннымъ, какой-то оберткой пакета, изъ котораго выбросили содержимое. И я пошелъ вдоль домовъ, снова вверхъ по бульварамъ.

Постараюсь написать тебѣ, хотя, въ сущности, нѣтъ никакой необходимости прощаться съ тобою. И все же я постараюсь сдѣлать это; мнѣ кажется, я обязанъ сдѣлать, потому что видѣлъ въ Пантеонѣ святую; одинокую, святую женщину... И крышу надъ нею, и дверь и внутри лампаду, окруженную скромнымъ кругомъ свѣта, а вдали спящій городъ, и рѣчку и рѣчную даль, облитую

луннымъ свѣтомъ. Святая бодрствуетъ надъ спящимъ городомъ. Я плакалъ. Плакалъ, потому что все случилось такъ неожиданно для меня. Я плакалъ отъ того, что, вѣдь, могло бы быть иначе

Я въ Парижѣ, и всѣ, кто знаетъ объ этомъ, радуются, а большинство даже завидуетъ мнѣ. И они правы. Парижъ большой городъ,—большой, преисполненный странныхъ искушеній. Что касается меня, то вынужденъ сознаться, что до извѣстной степени я подпалъ имъ. Думается, что нельзя отрицать этого. Я поддался искушеніямъ и это вызвало разныя измѣненія, если не въ моемъ характерѣ, то, во всякомъ случаѣ, въ моемъ міросозерцаніи и уже, навѣрное, въ моей жизни. Подъ ихъ вліяніемъ во мнѣ выработалось совершенно иное воспріятіе вещей и появились извѣстнаго рода особенности, отдаляющія меня отъ людей сильнѣе всего остального. Для меня весь міръ измѣнился и настала новая жизнь, полная иного значенія, нежели раньше. Въ настоящее время мнѣ еще немного тяжело, такъ какъ это состояніе слишкомъ ново для меня, я—начинающій въ своей собственной жизни.

Нельзя ли какъ-нибудь пожить на морѣ?

Да, представь себѣ, я, вѣдь, вообразить, что ты могла бы пріѣхать? Можетъ быть, тогда ты могла бы сказать мнѣ, есть ли здѣсь докторъ... Я забылъ узнать объ этомъ. Впрочемъ, теперь это мнѣ вовсе не нужно.

Помнишь ли ты совершенно невѣроятное стихотвореніе Бодлера „Une Chagogne“ Можетъ быть, я только теперь понялъ его. За исключеніемъ того, что онъ говоритъ въ послѣдней строфѣ, все правда. Что было ему дѣлать, когда съ нимъ приключилось *то*? Онъ и сдѣлалъ своей задачей найти въ ужасномъ и на видъ только омерзительномъ что-нибудь живое и имѣющее значеніе для всего живущаго. Не должно быть выбора и браковки. Развѣ ты думаешь, что Флоберъ случайно написалъ своего „St. l'Hospitalier“? Для меня имѣетъ рѣшающее значеніе, если человѣкъ можетъ заставить себя лечь съ прокаженнымъ и согрѣвать его тѣло съ такою же сердечной теплотой, какъ и въ ночи любви. Подобное можетъ закончиться лишь благомъ. Не думай только, что я страдаю вслѣдствіе разочарованія, наоборотъ: меня только удивляетъ, съ какою готовностью я отказываюсь отъ всѣхъ надеждъ ради дѣйствительности, даже если она ужасна.

Господи, если бы можно было хоть что-нибудь отбросить отъ нея? Но развѣ тогда *оно* существовало бы, существовало? Нѣтъ, *оно* дается лишь цѣною одиночества.

Каждая частица воздуха наполнена ужасомъ. Его вдыхаешь прозрачнымъ; потомъ онъ осѣ-

даетъ въ тебѣ, кристаллизуется и принимаетъ формы острыхъ геометрическихъ тѣлъ, вѣдающихся въ органы. Потому что все, что творилось ужаснаго,— муки на мѣстахъ казней, въ залахъ пытокъ, сумасшедшихъ домахъ, операціонныхъ залахъ, подъ сводами мостовъ въ позднія осени,— все это не умерло, завидуетъ всему живущему, существуетъ само по себѣ и крѣпко цѣпляется за свое существованіе. Люди не прочь бы забыть многое; сонъ милосердно сглаживаетъ борозды, проведенныя страданіями въ мозгу, но сновидѣнія уничтожаютъ сдѣланное имъ и снова восстанавливаютъ полустертые контуры. И люди просыпаются, и стонутъ, и свѣтъ отъ зажженной свѣчи расплзается во тьмѣ и они впиваютъ въ себя сумерки успокоенія, словно подслащенную воду. Но, увы,—ихъ спокойствіе виситъ на ниточкѣ: малѣйшее движеніе—и снова взоръ стремится проникнуть за предѣлы видимаго и ласково-покойнаго, и очертанія, только что казавшіяся мирными, превращаются въ зіяющіе края бездны ужаса. Бойся свѣта, заставляющаго помѣщеніе казаться болѣе пустымъ; не оборачивайся, чтобы убѣдиться, что за твоимъ стуломъ не поднимается, какъ властелинъ твой, чья-нибудь тѣнь. Можетъ быть, для тебя было бы даже лучше оставаться во тьмѣ: тогда сердце твое, не стѣсненное никакими границами, постаралось бы превратиться въ тяже-

лое сердце всего, чего нельзя различить. Теперь же, пересиливъ себя, ты какъ бы вызываешь свою собственную кончину, трепещешь въ своихъ же рукахъ и время отъ времени неопредѣленнымъ движеніемъ лицо свое поворачиваешь въ томъ направленіи. И внутри у тебя не хватаетъ мѣста; и то, что, благодаря твоей внутренней стѣсненности, не можетъ вмѣститься въ тебѣ, то великое,—почти успокаиваетъ тебя; умиротворяетъ и то, что даже неслышное извнѣ должно приноравливаться къ твоей внутренней тѣснотѣ. Но внѣ тебя, внѣ—ничто не зависитъ отъ этого и если оно распространится тамъ, то и въ тебѣ накопится,—не въ сосудахъ, которые отчасти въ твоей власти, или въ флегмѣ твоихъ болѣе нечувствительныхъ органовъ; оно скопляется въ капиллярахъ, поднимается вверхъ по жиламъ въ самыя крайнія развѣтвленія твоего существа, въ безчисленные его развѣтвленія... По нимъ оно поднимется, станетъ выше тебя самого, выше твоего дыханія, на которомъ ты добираться до самой крайней точки спасенія.... А потомъ куда? Куда же потомъ? Сердце твое гонитъ тебя изъ тебя же самого.... Сердце твое гонится за тобою и ты уже почти находишься внѣ себя, а обратно вернуться не можешь. Подобно тому, какъ у жука, на котораго наступили, выпираетъ все нутро, такъ и ты самъ изъ себя выступаешь и небольшая верхняя—жесткая

оболочка—способность приспособляться—уже теряетъ всякое значеніе.

О, ночь безпредметная! О, тупая, наружныя окна! О, старательно запертыя двери! О, перешедшіе къ намъ пережитки прежняго времени, въ которые вѣровали, но никогда не понимали. О, тишина въ сѣняхъ, тишина въ сосѣднихъ комнатахъ, тишина въ вышинѣ подъ потолкомъ! О, мать,—единственная, умѣвшая когда-то претворять эту тишину; когда-то, въ дѣтствѣ! Ты брала ее на себя и говорила: не бойся, это я. Ты имѣла мужество поздно ночью, ради тѣхъ, кто боялся и умиралъ отъ страха, отождествлять ее съ собою. Зажжешь, бывало, свѣчу и вотъ сама ты—уже звукъ. Держишь свѣчу передъ собою и говоришь: „Это я, не бойся“. И медленно поставишь ее, и уже нѣтъ болѣе сомнѣнія: это ты, ты—свѣтъ, окружающій милые, привычные предметы, у которыхъ нѣтъ потайного смысла, хорошіе, однозначущіе, искренніе... И тогда, если въ какой-нибудь стѣнѣ раздастся стукъ или гдѣ-то по полу послышатся шаги, ты лишь улыбнешься, улыбнешься прозрачному на свѣтломъ фонѣ лицу, боязливо, внимательно и вопросительно смотрящему на тебя, какъ будто ты—одно съ каждой тайной, съ каждымъ полужвукомъ, сговорила и въ полномъ согласіи съ ними. Развѣ можетъ какая-нибудь власть сравняться съ твоею въ господствѣ надъ земнымъ? Смотри,

короли лежатъ и цѣпенѣють отъ ужаса и не въ силахъ сказочники отвлечь ихъ вниманія. Покоясь на блаженныхъ грудяхъ своихъ фаворитокъ, они вдругъ чувствуютъ страхъ и начинаютъ дрожать, и радость бѣжитъ отъ нихъ. А ты вотъ, въ состояніи заставить отступить это страшное и окончательно овладѣваешь имъ; и не на подобіе занавѣси, удержишь ты его передъ собою, занавѣси которую оно могло бы то тутъ, то тамъ слегка приподнять, нѣтъ, ты, будто слѣдуя зову того, кто нуждается въ тебѣ, обгоняешь его. Ты точно на много опережаешь все, могущее случиться, и позади остается только поспѣшность, съ которой ты явилась на зовъ, твой вѣчный путь—полетъ твоей любви.

Гипсовщикъ, мимо котораго мнѣ ежедневно приходится проходить, выставилъ рядомъ двѣ маски: одну—снятую въ моргѣ съ молоденькой утопленницы, потому что она была красива и улыбалась, до того обманчиво улыбалась, будто ей уже все извѣстно; а подъ нею его познающее лицо; жестокій узелъ туги напряженныхъ мускуловъ; безжалостное претвореніе музыки, стремящейся безпрерывно расплыться въ поэзію. Лицо того, у кого Богъ отнялъ слухъ, чтобы для него не существовало звуковъ помимо тѣхъ, что онъ слышалъ

внутри себя; чтобы его не вводили въ заблужденіе мутность и временность шумовъ; его, въ которомъ была и ясность, и длительность ихъ; чтобы исключительно чувства безъ звука давали ему представленіе о мірѣ,—мірѣ напряженномъ, выжидающемъ, еще неоконченномъ мірѣ, до сотворенія звуковъ.

Завершитель мірового совершенства! Какъ тогда, когда надъ землею и надъ водами падаетъ дождь,—небрежно падаетъ, случайно,—и вслѣдствіе закона природы радостно и невидимо снова поднимается изъ всего, и поднимается, и носится и образуетъ небо,—такъ изъ тебя возносились осадки насъ и окутывали міръ облаками музыки.

Твоей музыки—чтобы она могла звучать для всей вселенной, а не только для насъ. Чтобы въ Оивахъ для тебя создали рояль съ молотами вмѣсто клавишъ и ангелъ провелъ тебя среди цѣлаго ряда дикихъ горныхъ цѣпей, гдѣ покоятся и цари, и гетеры, и анахореты, къ одинокому инструменту, а потомъ взлетѣлъ высоко прочь, боясь чтобы ты не началъ играть.

И прошелъ бы ты самъ потокъ—потоками звуковъ, никѣмъ дотолѣ не слышанныхъ, возвратилъ бы вселенной принадлежащей ей одной... И вдали проносились бы бедуины суевѣрные, а торгоши бросались бы ницъ около граней твоей музыки,

будто ты—олицетвореніе бури. И лишь отдѣльные лъвы кружились бы вокругъ тебя поздно ночью, боясь самихъ себя, словно собственная волнующаяся кровь грозитъ имъ опасностью.

Потому что, кто же можетъ изгнать изъ ушей своихъ похотливыхъ твои звуки и тебя самого?

Кто гонить изъ концертныхъ залъ продажныхъ съ неоплодотвореннымъ слухомъ, что блудить и никогда не зачинаетъ? Тамъ излучивается сѣмя, а они остаются подъ нимъ и забавляются имъ, какъ блудницы; или же оно, подобно сѣмени Онана, падаетъ среди нихъ, въ то время, какъ они лежатъ и наслаждаются чувствомъ удовлетворенности, ничѣмъ не вызваннымъ. Но, господинъ мой, тамъ, гдѣ звуки твои достигнуть дѣвственнаго слуха возлежащаго цѣломудреннаго, онъ умретъ отъ блаженства, или же познаетъ безконечное и его оплодотворенный мозгъ долженъ будетъ лопнуть отъ избытка творчества.

Я отнюдь не умаляю значеніе этого. Знаю, что для этого нужно обладать мужествомъ. Но, предположимъ на мгновеніе, что оно—этотъ *courage de luxe*,—оказался бы у кого-нибудь—мужество послѣдовать за ними, чтобы потомъ разъ навсегда (потому что, вѣдь, никто не могъ бы позабыть или перепутать что-либо подобное)

такъ вотъ, разъ навсегда знать, куда они потомъ заползаютъ и что дѣлаютъ въ продолженіи всего остального безконечнаго дня, и спать ли они по ночамъ? Особенно важно установить послѣднее—спятъ ли они? Но одного мужества для этого еще мало. Потому что, вѣдь, они приходятъ и уходятъ не какъ остальные люди, слѣдить за которыми сущіе пустяки. Нѣтъ, они тутъ, и снова ихъ нѣтъ, выстроились и убрались, точно оловянные солдатики. Встрѣняются они, правда, въ уединенныхъ мѣстахъ, но вовсе не скрытыхъ. Кусты ли немного отступятъ, или дорожка слегка изовьется вокругъ лужайки,—и они тутъ какъ тутъ; а вокругъ нихъ такая масса прозрачнаго воздуха, точно они находятся подъ стекляннымъ колпакомъ. Этихъ невидныхъ человѣчковъ, маленькихъ и скромныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, можно бы принять за простыхъ прохожихъ, надъ чѣмъ-то задумавшихся. Но это было бы ошибочно. Видишь лѣвую руку? Видишь какъ она что-то вытаскиваетъ изъ бокового кармана старого пальто? Видишь, она нашла то, чего искала и чело-вѣкъ протягиваетъ въ воздухъ что-то маленькое, такъ что это невольно бросается въ глаза? Не проходитъ и минуты, какъ къ нему уже подлетаютъ двѣ-три птички-воробушка—и съ любопытствомъ подсакиваютъ поближе. И если чело-вѣку удастся приноровиться къ очень опредѣ-

леннымъ понятіямъ птичекъ о неподвижности, то ничто не помѣшаетъ имъ подлетѣть къ нему совсѣмъ близко; кончается тѣмъ, что первый воробушекъ взлетываетъ на воздухъ и нѣкоторое время нервно кружится на высотѣ поднятой руки; а она (Богъ свидѣтель) протягиваетъ ему нарочито безпритязательными и невинными на видъ пальцами крохотный кусокъ обвѣтрившагося, сладкаго хлѣбца. И чѣмъ болѣе вокругъ человѣка собирается людей—понятно, на извѣстномъ разстояніи—тѣмъ слабѣе у него становится связь съ ними. Безъ малѣйшаго движенія стоитъ онъ, словно догорающій свѣтильникъ, распространяющій вокругъ себя остатки своего свѣта, которымъ самъ же и отогрѣвается. И какъ онъ манить, и чѣмъ приманиваетъ,—маленькія, глупенькія пичужки понять не умѣютъ. Если бы не являлись зрители и онъ имѣлъ возможность долго простаивать такимъ образомъ, я увѣренъ, съ неба внезапно спустился бы ангелъ и преодолевъ въ себѣ отвращеніе, съѣлъ бы старый, сладковатый кусочекъ изъ преисполненной горести руки... Но ему, какъ и всегда, мѣшаютъ люди. Они виною тому, что слетаются одни только птицы и они увѣряютъ, что ему другого и не нужно, съ него и ихъ довольно. Да и чего же ему еще надо, этому старому, вывѣтрившемуся отъ дождей, чучелу, слегка криво воткнутому въ землю, на подобіе рѣз-

ныхъ фигуръ съ носовыхъ частей кораблей въ маленькихъ садикахъ моей родины; можетъ быть, это чучело и приняло такое положеніе, потому что когда-то въ жизни, стояло впереди, на носу корабля, гдѣ качка всего сильнѣе? Можетъ быть, оно теперь кажется вывѣтрившимся оттого, что когда-то было черзчуръ ярко окрашено? Хочешь, спросимъ его? Только, если тебѣ случится увидеть женщину, кормящую птичекъ, ни о чемъ не спрашивай ее; женщину можно было бы даже выслѣдить, такъ какъ онѣ занимаются кормежкой какъ бы мимоходомъ; сдѣлать это не трудно. Но лучше оставить ихъ. Онѣ сами не знаютъ, какъ все случилось. Вдругъ у нихъ почему-то оказывается масса хлѣба въ ридикюль и онѣ вытаскиваютъ изъ-подъ тоненькой мантильки громадные куски; точно слегка размоченные куски, будто пережованные. Мысль, что слюна ихъ немного распространится по міру, что маленькія птицы будутъ летать по свѣту,нося въ себѣ капельку вкуса ея, хотя сами, конечно, моментально забудутъ объ этомъ,—эта мысль доставляетъ имъ удовлетвореніе.

И вотъ я сидѣлъ за твоими книгами, причудливый, и пытался уразумѣть ихъ, какъ и другіе, что не брали ихъ цѣликомъ, а выбирали изъ нихъ лишь какую нибудь часть тебя и удо-

влетворялись ею. Потому что тогда я еще не зналъ, что слава—публичный конецъ созидателя; не зналъ, что вмѣстѣ съ нею на расчищенное для постройки мѣсто, врывается толпа и перемѣшиваетъ всѣ заготовленные кирпичи. Невѣдомо гдѣ находящійся юноша! Если въ тебѣ зрѣть что-то, заставляющее тебя содрогаться, помни: для тебя полезно, если никто и ничего не будетъ знать о тебѣ. И если люди, считающіе тебя за ничтожество, начнутъ противорѣчить тебѣ, или же совсѣмъ махнутъ на тебя рукой, или же тѣ изъ нихъ, съ которыми ты общаешься, вздумаютъ погубить тебя за твои мысли,—какое значеніе будетъ имѣть опасность, то явное, что заставить тебя собраться съ силами, по сравненію съ позднѣйшими хитрыми подкопами славы? Она обезвредитъ тебя потому что развѣтъ по вѣтру твои мысли.

Никого не проси говорить о себѣ даже съ презрѣніемъ. А когда съ теченіемъ времени ты начнешь замѣчать, что имя твое начинаетъ обращаться среди людей, не придавай этому большого значенія нежели всему, что исходитъ изъ устъ ихъ. Скажи себѣ: оно стало непригоднымъ, и сбрось его. Прими другое, все равно какое, лишь бы Господь въ нощи могъ позвать тебя. Искрой его ото всѣхъ. Иы былъ самымъ одинокимъ на свѣтѣ, стоялъ въ сторонѣ ото всего, а благодаря

славѣ они настигли тебя. Давно ли они кореннымъ образомъ расходились съ тобою, а теперь обращаются, какъ съ равнымъ, и повсюду таскаютъ съ собою слова твои, выставляютъ ихъ въ клѣткахъ своего самохвальства, показываютъ на площадяхъ и слегка поддразниваютъ ими изъ своего безопаснаго убѣжища. И поддразниваютъ твоими словами, похожими на ужасныхъ хищныхъ звѣрей.

И когда они, эти отчаявшіеся, вырвались у меня и напали на меня же среди моей пустыни, я, такой же отчаявшійся, какъ и ты въ концѣ твоего пути, невѣрно обозначеннаго на всѣхъ картахъ, прочелъ тебя впервые. Безнадежная гиперболичность твоего странствія прорѣзаетъ небеса, подобно прыжку; только однажды ты склоняешься къ намъ, чтобы затѣмъ съ ужасомъ отвернуться. Что было тебѣ до того, останется ли женщина или уйдетъ, охватитъ ли одного головокруженіе, а другого—сумасшествіе, живы ли мертвецы и не находятся ли въ летаргій живущіе,—что тебѣ было до всего этого? Все это казалось тебѣ совершенно естественнымъ; ты проходилъ черезъ все это, словно черезъ сѣни, въ которыхъ люди не задерживаются. Но въ сферахъ, гдѣ клокочутъ наши дѣянія, ты останавливался на продолжительное время и тамъ, гдѣ онѣ ослѣдали и внутренне мѣняли свою окраску, ты склонялъ голову. На такой глубинѣ, на которую еще никто не опускался, пе-

редъ тобою распахнулись двери и ты оказался въ лабораторіи, у самыхъ колбъ, осіянныхъ заревомъ огня. Тамъ, куда ты никогда и никого не бралъ съ собою, недовѣрчивый, тамъ ты одинъ разбирался въ переходахъ изъ одного состоянія въ другое. И тамъ же,—такъ какъ въ крови у тебя было отмѣчать, а не творить или проповѣдывать,—ты принялъ громадное рѣшеніе: до того подчеркнуть ту черточку, что сначала и самъ различилъ лишь въ увеличительное стекло, чтобы она стала ясной для тысячъ, рѣзко обозначилась передъ всѣми. Возникъ твой театръ. Ты не могъ ждать, пока почти безразличная жизнь, тысячеклѣтними спресованная въ капли, была найдена и постепенно выявлена для единицъ остальными искусствами, и чтобы эти единицы мало-по-малу объединились для познанія ея и, наконецъ, у нихъ явилась потребность найти подтвержденіе возвышенныхъ догадокъ, разыгранныхъ на сценѣ при-мѣровъ. Ты не могъ выжидать этого: ты существовалъ и чувствовалъ долгъ выполнить то, чего измѣрить нельзя; тебѣ надо было найти, указать и сохранить: и подъемъ чувства на какіе-нибудь полградуса, и проявленіе почти ничѣмъ не стѣсненной воли, которую ты отмѣтилъ гдѣ-то около себя, и легкое помутнѣніе капли тоски, неуловимые переливы красокъ въ безконечно маломъ атомѣ... И это потому, что вся жизнь, наша жизнь,

въ наше время, ушла глубоко внутрь, ускользнула такъ далеко, что объ ней едва остались какія-то догадки.

А таковъ, какимъ ты былъ, созданный для толкованія, безвременнымъ трагическимъ поэтомъ, — ты не могъ не претворять однимъ ударомъ, сразу, эти тончайшіе намеки въ убѣдительнѣйшіе жесты въ самые наидѣйствительнѣйшіе. Ты взялся за свой властный и мощный трудъ и въ своихъ произведеніяхъ все нетерпѣливѣе и все съ большимъ отчаяньемъ искалъ въ внѣшнемъ эквивалентъ узрѣннаго внутри человѣка. И вотъ въ твоихъ твореніяхъ появляется кроликъ, чердакъ, залъ, въ которомъ кто-то ходитъ взадъ и впередъ; звонъ разбитого стекла въ сосѣдней комнатѣ; передъ окнами занимается пожаръ, показывается солнце. Была тутъ и церковь, и горная долина, напоминавшая церковь. Но и этого всего было еще мало: наконецъ, тебѣ понадобилось вывести башню и горныя цѣпи; а потомъ лавины, ради указанія на непостижимое, засыпали на сценѣ, загроможденной обыденщиной, цѣлая мѣстности. Но дальше идти уже было некуда. Концы трости, которую ты сгибалъ, выпрямились, твоя безумная сила покинула гибкій тростникъ и творчества твоего какъ не бывало. Догадался ли кто-нибудь, почему ты—своенравный, какимъ оставался въ продолженіе всей жизни,—въ послѣднее

время передъ кончиной не отходилъ отъ окна? Ты хотѣлъ видѣть прохожихъ, потому что тебѣ пришло въ голову, что, можетъ быть, и они пригодятся тебѣ на что-нибудь,—если тебѣ вздумается вывести ихъ въ одинъ прекрасный день?

Тогда я впервые подумалъ, что о женщинѣ ничего нельзя сказать; я замѣтилъ, что когда они рассказывали о ней, то у нихъ получалась масса пробѣловъ, они описывали другихъ, называли окрестности, мѣстечки, предметы, и такъ до извѣстной точки, на которой все обрывалось легкимъ, едва намѣченнымъ, отнюдь не рѣзко вычерченнымъ, контуромъ, изображавшимъ ее.—Какая же она сама была?—спрашивалъ я тогда.—„Бѣлокурая, приблизительно, такая же какъ ты,“ отвѣчали мнѣ и перечисляли разные другіе, извѣстные имъ, признаки, но отъ этого образъ ея снова стирался и я опять ничего не могъ себѣ представить. По настоящему я видѣлъ ее лишь тогда, когда татап рассказывала мнѣ исторію, которую мнѣ постоянно хотѣлось слышать сызнова.

И въ этихъ случаяхъ, она, дойдя до сцены съ собакой, каждый разъ закрывала глаза, лицо ея какъ бы замыкалось и въ то же время становилось прозрачнымъ, и она какъ-то особенно прижимала къ вискамъ холодныя руки.—„Я видѣла это, Мальте“,—

точно, заклиная меня о чемъ-то, говорила она: «Я сама это видѣла». Рассказывала она это происшествіе уже въ послѣдніе годы своей жизни, когда никого не хотѣла видѣть, и даже во время путешествій возила съ собой маленькое, частое серебряное ситочко, черезъ которое процѣживала всѣ напитки. Твердой пищи, за исключеніемъ небольшого количества хлѣба или бисквита, которые она, оставаясь одна, ломала на мелкіе кусочки и съѣдала крошку за крошкой, какъ дѣлаютъ дѣти, она уже совсѣмъ не употребляла. Въ то же время ею окончательно овладѣла боязнь булавокъ. Она говорила въ видѣ извиненія: «Я уже ничего не въ состояніи выносить, но пусть васъ это не тревожитъ; несмотря на это, я чувствую себя превосходно.» Но ко мнѣ она иногда вдругъ поворачивалась (я уже успѣлъ немного подрости къ этому времени) и съ улыбкой, стоившей ей неимоверныхъ усилій, говорила: «Сколько на свѣтѣ есть разныхъ булавокъ, Мальте, и гдѣ только онѣ не валяются. Если же вспомнить, какъ легко онѣ выпадаютъ»... И она старалась придать словамъ своимъ шуточный оттенокъ, но въ то же время вся тряслась отъ ужаса при одной мысли обо всѣхъ этихъ плохо воткнутыхъ булавахъ, которыя ежеминутно могли куда-нибудь упасть.

Но когда она рассказывала объ Ингеборгъ, съ нею ничего не дѣлалось: она уже не жалѣла себя, говорила громко; вспоминая смѣхъ Ингеборгъ, смѣялась сама, чтобы и я могъ представить себѣ, до чего та была красива. «Она всѣхъ насъ одаряла радостью»,—говорила матан,—«и твоего отца тоже, Мальте: при ней онъ буквально сіялъ радостью. Но когда объявили, что она должна умереть,—хотя по ея виду можно было думать, что ей лишь слегка нездоровится, и мы всѣ старались скрыть это отъ нея, она вдругъ, однажды, сѣла, вотъ такъ, на кровати и произнесла какъ бы про себя, точно желая услышать звукъ своихъ словъ: «Не старайтесь притворяться, вѣдь, всѣмъ вамъ извѣстно, что я должна умереть... И могу успокоить васъ—хорошо, что это такъ, потому что я не хочу больше жить.» Представь себѣ, она сказала: «Я не хочу больше жить,»—это она-то, всѣмъ доставлявшая такъ много радости! Поймешь ли ты это, Мальте? Когда-нибудь потомъ, когда станешь большимъ? Вдумайся тогда въ эти слова, можетъ быть, и догадаешься. А какъ было бы хорошо, если бы кто-нибудь понималъ подобныя вещи».

«Такія вещи» занимали матан, когда она оставалась одна, а въ послѣдніе годы она всегда бывала одна...

— «Вѣдь, мнѣ-то никогда не додуматься до этого, Мальте,—говаривала она иногда съ своей до странности смѣлой улыбкой; она не хотѣла, чтобы кто бы то ни было видѣлъ эту улыбку, однимъ своимъ появленіемъ достигавшую цѣль.—«Но почему никого другого не тянетъ докопаться до этого? Если бы я была мужчиной—да вотъ, если бы я была мужчиной,—то стала бы обсуждать все, какъ слѣдуетъ, по порядку, подрядъ, съ самаго начала... Потому что, вѣдь, должно же быть этому какое-нибудь начало, и если только найти хоть его одно, то и тогда было бы кое-что сдѣлано, Ахъ, Мальте, всѣ мы только и дѣлаемъ, что расхаживаемъ себѣ, и мнѣ кажется, что всѣ мы какіе-то разсѣянные, занятые и не обращаемъ должнаго вниманія на умираніе людей. Точно будто летитъ съ неба звѣзда, а никто ее не видитъ и никто при этомъ ничего себѣ не желаетъ. Никогда не забывай пожелать себѣ чего-нибудь, Мальте. Не надо переставать желать. Я думаю, что исполненія желаній не бываетъ, но зато есть желанія, что живутъ долгое время, всю жизнь, такъ что и исполненіе-то ихъ невозможно.»

Матан приказала внести маленькій секретеръ Ингеборгъ въ свою комнату и я часто заставлялъ ее передъ нимъ, такъ какъ мнѣ дозволялось безо всякихъ околичностей входить къ ней. Несмотря на то, что шаги мои заглушались ковромъ, она

чувствовала мое приближеніе и черезъ плечо протягивала руку. Рука ея совершенно не имѣла вѣса и при поцѣлуѣ вызывала то же ощущеніе, что распятіе слоновой кости которое мнѣ протягивали вечеромъ, передъ отходомъ ко сну, чтобы я приложился къ нему. Передъ этимъ низенькимъ бюро; съ откидной доской, тапан сидѣла точно передъ инструментомъ. «Въ немъ столько солнца!» — говорила она. И дѣйствительно, внутренность его, покрытая стариннымъ желтымъ лакомъ, съ разбросанными по немъ цвѣтами, всегда по два, — красный и синій, — казалась удивительно свѣтлой. Тамъ же, гдѣ находилось по три цвѣтка, вмѣстѣ, въ серединѣ всегда оказывался фіолетовый, разъединявшій два остальныхъ. Сами цвѣты и зелень тонкихъ, совершенно прямо тянущихся кверху, завитушекъ, казались настолько же темными, какъ бы замкнутыми въ себѣ, насколько фонъ, наоборотъ, сіялъ, хотя, въ сущности, вовсе не былъ свѣтелъ. Это свойство какъ-то странно смягчало тона, имѣвшіе какое-то внутреннее отношеніе другъ къ другу, далеко неясно выраженное во внѣшнемъ.

Мапан одинъ за другимъ выдвигала маленькіе, пустые ящички. «Ахъ, розы», — говаривала она и слегка наклонялась навстрѣчу тонкому аромату, никогда не выдыхавшемуся. И всегда въ этихъ случаяхъ у нея являлось представленіе, будто въ какомъ-нибудь потайномъ ящикѣ, о которомъ ни-

кто не помнилъ и который уступить нажатію какой-то тайной пружины, вдругъ найдутся какія-нибудь бумаги. «Вотъ увидишь: вдругъ онъ откуда-нибудь и выскочитъ», — говорила она дѣловито, боязливо и торопливо вытягивая всѣ ящички. Между тѣмъ, бумаги, что дѣйствительно были найдены въ секретѣ, она старательно собрала и спрятала, не читая. «Все равно, Мальте, я ничего бы не поняла въ нихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что онѣ оказались бы слишкомъ непонятными для меня». У нея было твердое убѣжденіе, что для нея все слишкомъ сложно. «Для учащихся жить не существуетъ систематическаго обученія; отъ нихъ съ первыхъ же шаговъ спрашивается наиболѣе трудное.» Меня увѣряли, что она стала такой со времени ужасной смерти своей сестры, графини Оллегардъ Скиль, которой, собираясь на балъ, вздумалось переколоть на головѣ цвѣты, при этомъ она слишкомъ близко подошла къ зеркалу, платье ея вспыхнуло и она погибла. Но позднѣе судьба Ингеборгъ казалась тапан еще менѣе постижимой.

А теперь я расскажу эту исторію въ томъ видѣ, въ какомъ ее мнѣ передавала тапан, когда я просилъ ее объ этомъ.

«Было это среди лѣта, въ пятницу, послѣ погребенія Ингеборгъ. Съ того мѣста террасы, гдѣ мы пили чай, между гигантскими стволами ульмъ, можно было рассмотреть куполь фамильнаго склепа.

Столь былъ сервированъ съ такимъ расчетомъ, чтобы казалось, что за нимъ и раньше никогда не сиживало больше народу и потому мы находились на довольно большомъ разстояніи другъ отъ друга. Зато каждый принесъ съ собою или книгу или рабочую корзину, такъ что намъ стало даже какъ будто немного тѣснѣе. Абе-лона (младшая сестра тата) разливала чай, и всѣ старались что-нибудь подавать другъ другу и только дѣдушка, сидя въ креслѣ, смотрѣлъ на домъ. Въ этотъ часъ приходила почта и ее обыкновенно приносила намъ Ингеборгъ, которую всегда задерживали въ домѣ разныя хозяйственныя распоряженія. За нѣсколько недѣль ея болѣзни у насъ было достаточно времени отвыкнуть отъ ея прихода, да къ тому же, мы знали, что она придти не можетъ.. Но въ этотъ-то день, Мальте, когда она дѣйствительно уже болѣе не могла явиться,—она вдругъ пришла. Можетъ быть, по нашей винѣ. Потому, что я помню, что вдругъ усиленно стала думать о томъ, что же въ сущности измѣнилось? И тутъ же почувствовала, что не знаю, что именно,—я совершенно все забыла. Поднявъ глаза, увидала, что и остальные всѣ повернулись къ дому, не какъ-нибудь особенно, а спокойно, какъ поворачивались и раньше, когда ждали чего-то. И я чуть не сказала,—когда я вспоминаю объ этомъ, Мальте, то и теперь еще холодѣю,—да про-

стить мнѣ Богъ, я хотѣла сказать: «Да гдѣ же..», какъ вдругъ Кавалеръ, какъ всегда, выскочилъ изъ подъ стола и бросился ей навстрѣчу. Я сама видѣла это, Мальте, я видѣла это... Онъ бросился ей навстрѣчу, хотя она и не показывалась, но онъ-то почувялъ, что она идетъ. Мы всѣ поняли, что онъ бѣжитъ именно ей навстрѣчу. Дважды онъ оглянулся на насъ, точно спрашивая, потомъ, какъ всегда, кинулся впередъ, Мальте.., и, очевидно, достигъ ея, потому что началъ кружиться вокругъ чего-то, Мальте.., вокругъ чего-то, чего не было... а потомъ подпрыгнулъ, чтобы лизнуть ее, подпрыгнулъ высоко. Мы слышали его радостный визгъ и такъ какъ онъ нѣсколько разъ подпрыгивалъ такимъ образомъ, то можно было подумать, что онъ заслоняетъ ее отъ насъ своимъ тѣломъ. Но вдругъ онъ взвылъ и какъ-то удивительно неуклюже бросился назадъ, но по дорогѣ опять, какъ-то необыкновенно, растянулся и больше уже не двигался. Въ то же время съ другой стороны дома показался лакей съ почтой, но, при видѣ нашихъ лицъ, онъ не рѣшался двинуться съ мѣста. И отецъ твой, Мальте, сдѣлалъ ему знакъ остановиться. Твой отецъ, Мальте, не любилъ животныхъ; но тутъ онъ пошелъ медленно, какъ мнѣ показалось, и наклонился надъ собакой. Затѣмъ онъ сказалъ что-то лакею, что-то короткое, односложное. Я видѣла, какъ лакей под-

бѣжалъ къ нему, чтобы поднять Кавалера, но твой отецъ самъ поднялъ его и пошелъ съ нимъ въ домъ, точно опредѣленно зная, куда собственно надо отнести его».

Однажды, когда во время этого разсказа совсѣмъ стемнѣло, я былъ близокъ къ тому, чтобы разсказать татап объ «рукѣ», въ ту минуту я былъ способенъ на это. Я уже вздохнулъ, приготавливаясь, какъ вдругъ мнѣ пришло въ голову, какъ прекрасно я понимаю лакея и что онъ не могъ рѣшиться подойти къ намъ изъ-за ихъ лицъ. И я представилъ себѣ, до чего страшнымъ, несмотря на темноту, станетъ лицо татап, когда она увидитъ то, что видѣлъ я, и я поспѣшно вторично вздохнулъ, тогда казалось, что мнѣ только этого и нужно было. Нѣсколько дней спустя, послѣ странной ночи въ галлерей Урнеклостера, я нѣсколько дней носился съ мыслью довѣриться во всемъ маленькому Эрику. Но тотъ, послѣ нашего ночного разговора, опять совершенно отдалился отъ меня и даже избѣгалъ—думаю, что онъ презиралъ меня. А мнѣ именно потому и хотѣлось разсказать ему объ рукѣ. Я вообразилъ, что выиграю въ его мнѣніи,—а того мнѣ почему-то ужасно хотѣлось,—если мнѣ удастся увѣрить его, что я дѣйствительно пережилъ. Но Эрикъ до того ловко избѣгалъ меня, что мнѣ такъ и не удалось выполнить своего на-

мѣренія. А потомъ вскорѣ мы и уѣхали. Вотъ почему случилось, какъ это ни странно, что сейчасъ я впервые, да и то, въ сущности, самому себѣ, рассказываю случай изъ моего дѣтства, лежащаго уже далеко позади.

До чего я тогда былъ еще малъ, я заключаю изъ того, что для того, чтобы было удобнѣе рисовать на столѣ, мнѣ приходилось становиться въ креслѣ на колѣни. Было это вечеромъ, зимой, если не ошибаюсь, въ нашей городской квартирѣ. Столъ стоялъ въ моей комнатѣ между окнами и въ ней находилась лишь одна лампа, освѣщавшая мою бумагу и книгу mademoiselle; потому что mademoiselle сидѣла рядомъ со мною, нѣсколько отодвинувшись назадъ, и читала. Когда же она читала, мысли ея витали гдѣ-то очень далеко, только врядъ ли на страницахъ книги, и, такимъ образомъ, она могла читать по цѣлымъ часамъ, причемъ очень рѣдко переворачивала страницы, и у меня являлось впечатлѣніе, будто онѣ становятся все полнѣе и будто она видитъ еще какія-то слова, помимо напечатанныхъ на нихъ, слова, нужные ей, которыхъ она не находила въ нихъ. Все это мнѣ представлялось въ то время, какъ я рисовалъ. А рисовалъ я медленно, не имѣя никакихъ опредѣленныхъ намѣреній, и когда не зналъ, что же изобразить дальше, смотрѣлъ, слегка склоняя голову на правое плечо,

смотрѣлъ на нарисованное; при такомъ положеніи воображеніе всегда скорѣе подсказывало мнѣ, чего еще не хватаетъ на рисунокъ. Обыкновенно изображались конные офицера, отправлявшіеся на войну, или же уже участвующие въ сраженіи. Послѣднее было гораздо проще, такъ какъ въ этомъ случаѣ приходилось рисовать лишь дымъ, заволакивавшій рѣшительно все. Маман, правда, всегда увѣряла, будто я изображалъ какіе-то острова; острова съ большими цвѣтами и замками, и лѣстницами, тоже обставленными цвѣтами, и все это отражалось въ водѣ; но я думаю, что или она это выдумывала, или же это было уже гораздо позднѣе.

Итакъ, допустимъ, что въ этотъ вечеръ я рисовалъ рыцаря; одного рыцаря, очень ясно вырисовавшагося на странно изукрашенномъ конѣ. Расцвѣтка его оказалась до того пестрой, что мнѣ поминутно приходилось мѣнять карандаши; но чаще всего, все-таки, пускался въ ходъ красный, за которымъ я то и дѣлю тянулся. И вотъ разъ, когда онъ снова понадобился мнѣ, онъ неожиданно — какъ сейчасъ это вижу — покатился поперекъ освѣщеннаго листа бумаги на край стола и раньше, чѣмъ я успѣлъ помѣшать, полетѣлъ на полъ и исчезъ. Мнѣ же, въ самомъ дѣлѣ, было его очень нужно и въ то же время досадно лѣзть подъ столъ. Я былъ страшно неловокъ и потому

мнѣ пришлось прибѣгнуть къ различнымъ ухищреніямъ, чтобы спуститься на полъ; ноги оказались у меня черезчуръ длинными и я никакъ не умѣлъ вытащить ихъ изъ-подъ себя. Къ тому же, я слишкомъ долго простоялъ на колѣняхъ, вслѣдствіе чего они одеревенѣли, и я уже не могъ различить, гдѣ кончается часть меня самого и гдѣ начинается кресло. Въ концѣ концовъ, я, все-таки, слегка сконфуженный, очутился внизу и оказался на шкурѣ какого-то звѣря, разостланной подъ столомъ до самой стѣны. Но тутъ явилось новое затрудненіе: привыкнувъ къ яркому свѣту наверху, и все еще видя передъ собою яркія краски на бѣлой бумагѣ, глаза мои не были въ состояніи различить хоть что-нибудь и темнота подъ столомъ казалось мнѣ до того компактной, что я боялся натолкнуться на нее. Слѣдовательно, мнѣ оставалось положиться на чувство осязанія и я, стоя на колѣняхъ и облокотясь на лѣвую руку, другой сталъ водить по длинной, прохладной шерсти ковра, казавшейся мнѣ весьма пріятной на ошупь — но карандаша нигдѣ не оказывалось. Мнѣ показалось, что я даромъ теряю массу времени, и только что я собрался окликнуть *mademoiselle* и попросить ее посвѣтить мнѣ лампой, какъ замѣтилъ, что для моего невольно напряженнаго зрѣнія темнота постепенно становится прозрачнѣе, и сквозь нее я уже сталъ различать

заднюю стѣну со свѣтлымъ карнизомъ, могъ ориентироваться между ножками стола и прежде всего разглядѣлъ свою собственную руку съ растопыренными пальцами, которая двигалась какъ-то совершенно самостоятельно, напоминая своимъ движеніемъ водяное животное, шныряющее по дну. Я смотрѣлъ на нее, какъ /сейчасъ помню, съ крайнимъ любопытствомъ; глядя на то, какъ она самовластно обшариваетъ дно, мнѣ почудилось, что она умѣетъ производить такія движенія, какихъ я никогда не знавалъ за нею. Меня заинтересовало, какъ она подвигается впередъ, и я приготовился ко всякаго рода зрѣлищамъ и внимательно слѣдилъ за нею. Но развѣ я могъ ожидать, что вдругъ навстрѣчу ей, отъ противоположной стѣны, протянется другая рука, побольше только? И до того необыкновенно худая рука, что я еще никогда не видывалъ подобной? И вдругъ эта рука начинаетъ точь-въ-точь также шарить по полу со своей стороны и обѣ растопыренныя незрячія руки ощупью подвигаются другъ къ другу. Мое любопытство еще не было удовлетворено, когда внезапно оно потухло и замѣнъ его остался одинъ ужасъ. Я чувствовалъ, что одна изъ рукъ принадлежитъ мнѣ и что она пускается на что-то такое, чего потомъ уже никакъ нельзя будетъ поправить. Сознывая свое неотъемлемое право распоряжаться ею, я придержалъ ее и тихо, плашмя,

поташилъ къ себѣ, не спуская въ то же время глазъ съ той, другой, продолжавшей чего то искать. Я понялъ, что она не уступаетъ и не помню уже, какъ очутился наверху. Тутъ я забился въ самую глубину кресла: зубы мои стучали, въ лицѣ не было ни кровинки, такъ что, думается, даже бѣлки глазъ не выдѣлялись. «Mademoiselle», хотѣлъ я сказать и не могъ, но она сама чего-то испугалась, бросила книгу въ сторону, опустилась передо мною на колѣни и стала звать по имени; мнѣ кажется, что она даже трясла меня. Но я находился въ полномъ сознаніи и нѣсколько разъ потянулъ въ себя воздухъ, потому что собирался рассказать, что со мною было.

Но какъ? Я изо всѣхъ силъ старался овладѣть собою, но не находилъ словъ для выраженія случившагося, чтобы оно стало понятнымъ и другимъ. Если и существовали такія слова, то я былъ слишкомъ малъ, чтобы найти ихъ. И вдругъ меня охватилъ ужасъ, что онѣ, все-таки, вопреки моему возрасту, могутъ объявиться, эти слова, но произнести ихъ сызнова, съ самаго начала, снова пережить то, что произошло внизу, лишь нѣсколько иначе, — мнѣ казалось ужаснѣе всего остального; на то же, чтобы объяснить, какъ я все понималъ, у меня, думаю, уже не осталось силъ.

Конечно, можетъ быть, это лишь мое воображеніе, но я уже въ то время почувствовалъ, что съ

этого дня въ мою жизнь, даже въ самого меня, вошло что-то, съ чѣмъ мнѣ придется всегда и всюду бороться одному.

Вижу себя лежащимъ безъ сна въ маленькой сѣтчатой кроваткѣ, съ смутнымъ предчувствіемъ, что жизнь сложится именно такъ, а не иначе; будетъ полна всякихъ необычныхъ вещей, приуготованныхъ для одного меня, рассказать которыхъ невозможно. Вѣрно одно, что во мнѣ, мало-по-малу, стала проявляться тяжелая грусть и какая-то особая гордость. Я представлялъ себѣ, какъ, молча, буду расхаживать, преисполненный внутреннихъ переживаній; я ощущалъ необузданную симпатію къ взрослымъ, удивлялся имъ и собирался сказать, до чего поклоняюсь имъ. Mademoiselle я рѣшилъ сообщить это при первомъ же удобномъ случаѣ.

А тутъ наступила одна изъ тѣхъ болѣзней, которыя были какъ бы созданы для того, чтобы доказать мнѣ, что онѣ являются не первыми моими переживаніями. Меня мучилъ бредъ, заставлявшій подниматься изъ самыхъ сокровенныхъ тайниковъ души опыты, картины и факты, о которыхъ я ничего не зналъ; и я лежалъ, какъ бы придавленный самимъ собою и поджидалъ мгновенія, когда мнѣ будетъ приказано все это снова запрятать въ себя, хорошенько запрятать, все по порядку... Тогда я принимался за дѣло, но у меня подъ руками оказывалось слишкомъ много всего и становилось все

больше и больше, и я не могъ уже справиться... Въ этихъ случаяхъ меня охватывало бѣшенство и я, комкая все, сваливалъ въ свою душу цѣлыми ворохами; но тогда я самъ не могъ заикнуться и начиналъ кричать. Лежалъ, полуразверстый, и кричалъ, кричалъ... А когда я послѣ этого рѣшился выглянуть изъ своего внутренняго міра, то оказывалось, что они уже давно стоятъ вокругъ моей кровати и держатъ меня за руки; и свѣча горитъ, и за ними движутся ихъ громадныя тѣни. И отецъ приказывалъ сказать мнѣ, въ чемъ дѣло; приказъ отдавался сдержанно, ласково, но все же это былъ приказъ, и когда я не ютвѣчалъ, онъ терялъ терпѣніе.

Мамапъ никогда не приходила по ночамъ—или, нѣтъ,—однажды она все-таки пришла. Я такъ долго кричалъ, что около меня собрались и mademoiselle, и Сиверсенъ-экономка, и Георгъ-кучеръ, но и то не помогло. Наконецъ, они рѣшились послать карету за родителями, находившимися на большомъ балу, кажется, у кронпринца. И вдругъ я услышалъ, какъ она въѣзжаетъ во дворъ и утихъ, сѣлъ на кровати и сталъ смотрѣть на дверь. Въ сосѣдней комнатѣ раздался легкій шорохъ и мамапъ въ придворномъ нарядѣ, на который она не обращала никакого вниманія, почти вбѣжала ко мнѣ; бѣлая шуба соскользнула съ ея плечъ, когда она заключила меня въ свои обнажен-

ныя руки. Я же, пораженный, какъ никогда, въ восторгѣ ощупывалъ ея волосы, ея маленькое выхоленное личико, и холодные камни въ ушахъ, и шелкъ, обрамлявшій плечи, пахнувшія цвѣтами. Мы такъ и остались обнявшись, нѣжно плакали и цѣловались, пока не почувствовали, что вошелъ отецъ и намъ нужно разстаться.

«У него сильный жаръ»,—услыхалъ я робкій шопотъ тамап, послѣ чего отецъ взялъ мою руку и сталъ щупать пульсъ. Онъ былъ въ формѣ егермейстера, съ чудной, широкой, голубой муаровой лентой ордена Слона. «Что за нелѣпость вызывать насъ»,—сказалъ онъ, не глядя на меня. Они общались вернуться на балъ, въ случаѣ, если бы не оказалось ничего серьезнаго. Послѣ ихъ ухода, я нашелъ на своемъ одѣялѣ корнэ тамап для записи танцевъ и бѣлыя камелии, которыхъ раньше никогда не видывалъ; я положилъ ихъ на глаза и наслаждался прохладой лепестковъ. Но послѣ обѣденнымъ часамъ во времена такихъ болѣзней, казалось, и конца нѣтъ. По утрамъ, послѣ плохо проведенной ночи, какъ-то долго спалось, а когда потомъ, бывало, проснешься съ мыслью, что еще очень рано, оказывалось, что уже полдень миновалъ и день тянулся, тянулся безъ конца. И вотъ лежишь, бывало, въ прибранной кроваткѣ, можетъ быть, немного вытягиваешь суставы и чувствуешь слишкомъ большое утомленіе, чтобы хотѣ

что-нибудь представить себѣ. Во рту надолго сохранился вкусъ яблочнаго пюре и это уже очень много значило, если вмѣсто того, чтобы дать распоряжаться въ своей головѣ разнымъ мыслямъ, сосредоточить вниманіе на его дѣйствіи. Потомъ, когда силы восстанавливались и мнѣ подъ спину подкладывали подушки, я могъ сидѣть и играть въ солдатики; но они очень ужъ легко опрокидывались на покатоми столікѣ у кровати и всякій разъ падали цѣлыми рядами; а я, между тѣмъ, все еще не былъ въ состояніи совершенно вернуться къ обычной жизни и выстраивать ихъ сызнова. И вдругъ все это начинало мнѣ казаться лишнимъ, и я просилъ какъ можно скорѣе убрать ихъ, и мнѣ было пріятно снова видѣть передъ собою однѣ свои руки, поодаль отъ себя, на одѣялѣ.

Если иногда на полчаса входила тамап и читала мнѣ вслухъ сказки (для настоящаго продолжительнаго чтенія у меня была Сиверсенъ), то это дѣлалось не ради сказокъ. Потому что мы оба съ ней сказокъ не любили. У насъ были инныя понятія о чудесномъ. Мы находили, что если бы всегда все творилось естественнымъ образомъ, то это и было бы самое удивительное. Мы съ нею не очень-то стремились летать по воздуху, феи разочаровали насъ и отъ превращенія въ кого бы то ни было мы ожидали лишь по-

верхностнаго разнообразія. Но для вида мы, все-таки, какъ будто и читали, будто, въ самомъ дѣлѣ, были заняты,—а то и ей и мнѣ было бы непріятно въ случаѣ прихода кого-нибудь объяснить, что мы дѣлали; а относительно отца мы вели себя даже съ преувеличенной ясностью. И только въ тѣхъ случаяхъ, когда были совершенно увѣрены, что намъ никто не помѣшаетъ, а на дворѣ уже начинало смеркаться, намъ случалось предаваться воспоминаніямъ о временахъ давно, давно прошедшихъ, какъ намъ обоимъ казалось; и мы улыбались, потому что успѣли съ тѣхъ поръ значительно вырасти. Мы вспоминали, что было время, когда татап желала, чтобы я былъ маленькой дѣвочкой, а не мальчикомъ, какъ теперь. Я какимъ-то образомъ догадался объ этомъ, и мнѣ приходило въ голову иногда, послѣ обѣда, стучаться въ комнату татап и на ея вопросъ „кто тамъ“? съ восторгомъ отвѣчать изъ-за двери: «Софи», причемъ я дѣлалъ свой, и безъ того слабый, голосъ до того тонкимъ, что онъ щекоталъ мнѣ горло. И когда я входилъ къ ней, почти въ такомъ же коротенькомъ, какъ у дѣвочекъ, платьѣ, которое всегда носится съ засученными рукавами, то дѣйствительно превращался въ Софи, маленькую Софи татап, которая начинала хозяйничать у нея, и заплетать татап косы, и все это, чтобы ее нельзя было смѣшать съ нехорошимъ Мальте, даже тогда,

когда онъ вернется. Но послѣднее было вовсе нежелательно: какъ татап, такъ и Софи, были довольны его отсутствіемъ, и ихъ разговоры (Софи продолжала все время говорить необыкновенно высокимъ голосомъ) большею частью заключались въ томъ, что онѣ перечисляли шалости Мальте и жаловались на него. «Ахъ, ужъ этотъ мнѣ Мальте!»—вздыхала татап. А Софи припоминала множество гадкихъ продѣлокъ вообще всякихъ мальчиковъ, точно она знавала ихъ цѣлую пропасть. «Желала бы я знать, что случилось съ Софи?»—внезапно замѣчала татап во время такихъ воспоминаній. Мальте, конечно, ничего не могъ сообщить ей объ этомъ. Но если татап высказывала предположеніе, что она, вѣроятно, умерла, онъ упрямо спорилъ и умолялъ ее не вѣрить этому, хотя доказать противное было невозможно.

Когда я теперь перебираю все это въ умѣ, то только удивляюсь, что каждый разъ я, все-таки, снова покидалъ свой бредовой міръ и снова возвращался къ чрезвычайно тѣсной семейной жизни, гдѣ каждому хотѣлось, чтобы его желаніе оставаться въ области общеизвѣстнаго находило поддержку и въ другихъ, и гдѣ всѣ съ такою осторожностью вели себя въ сферѣ общепонятнаго. Въ ихъ жизни чего-то ждали и оно случалось

или не случалось—третій исходъ былъ немислимъ. Въ ихъ жизни случались вещи, которыя разъ навсегда были причтены къ грустнымъ, существовали положенія, признанныя пріятными, и цѣлая масса вещей безразличныхъ. Но если на чью-нибудь долю выпадала радость, то радость настоящая, и тому человѣку соотвѣтственно этому и слѣдовало вести себя. Въ сущности, все это было очень просто, и если хорошенько вникнуть, то все дѣлалось какъ-то само собою, и въ условныя границы можно было вписать все рѣшительно: равномѣрно-нескончаемые, длинные часы уроковъ въ то время, какъ на дворѣ стояло лѣто; прогулки, о которыхъ приходилось рассказывать на французскомъ діалектѣ; гостей, къ которымъ меня вызывали въ пріемную, и которые находили забавнымъ мою грусть и потѣшались надо мною, точно надъ извѣстными птицами съ вѣчно печальнымъ выраженіемъ; и, само собою, дни рожденій, когда сзывались дѣти, которыхъ я почти не зналъ; дѣти конфузились, и отъ этого и я чувствовалъ себя сильно смущеннымъ; или же, наоборотъ, являлись дерзкія, царапавшія мнѣ лицо и ломавшія только что полученные подарки; а потомъ, когда все оказывалось повытасканнымъ изъ ящиковъ и коробокъ и сваленнымъ въ кучу, онѣ уѣзжали домой. Ну, а играя одинъ, какъ обыкновенно, мнѣ случалось переступать границы этого

совсѣмъ невиннаго мірочка, слитаго во-едино съ остальнымъ міромъ, и попадать въ совершенно неожиданныя положенія, которыхъ нельзя не отмѣтить.

Mademoiselle временами страдала чрезвычайно сильными мигренями и въ эти дни бывало нелегко отыскать меня. Я зналъ, что когда отцу приходила фантазія справиться обо мнѣ, за мною посылали кучера въ паркъ. Изъ одной гостиной наверху я могъ видѣть, какъ онъ выбѣгалъ и у входа въ длинную аллею начиналъ звать меня. Эти гостиныя, одна подлѣ другой, были расположены по фасаду Ульсгаардскаго дома, а такъ какъ мы въ тѣ времена уже рѣдко принимали гостей, то онѣ почти всегда стояли пустыми. Къ нимъ примыкала еще большая угольная, имѣвшая для меня громадную притягательную силу. Въ ней ничего не было, кромѣ стараго бюста, изображавшаго, насколько помню, адмирала Юеля; зато всѣ стѣны вокругъ сплошь были заставлены глубокими, сѣрыми стѣнными шкафами, такъ что даже окна и тѣ были продѣланы въ голый, выбѣленной стѣнѣ надъ ними. Ключъ отъ шкафовъ я нашелъ висящимъ на дверцахъ одного изъ нихъ и онъ же отпиралъ всѣ остальные. Такимъ образомъ, я имѣлъ возможность въ короткое время изслѣдовать все находившееся въ нихъ: и холодные на ошупь отъ множества затканнаго се-

ребра камергерскіе камзолы XVIII вѣка, и чудно вышитые жилеты къ нимъ, и костюмы ордена Данеборга и Слона, которые съ перваго взгляда можно было бы принять за женскія платья, до того они были сложны и богаты и съ такой мягкой на ощупь подкладкой. И еще самыя настоящія робы, которыя, благодаря тому, что висѣли на плечикахъ, отдѣлялись одна отъ другой, точно распяленные маріонетки какой-нибудь вышедшей изъ моды большой пьесы. Головы маріонетокъ были, вѣроятно, употреблены на что-то другое. Но среди другихъ находились и такіе шкафы, въ которыхъ, казалось, совсѣмъ темно, темно отъ разныхъ скромныхъ формъ, гораздо болѣе поношенныхъ, нежели все остальное, и въ сущности только и жаждавшихъ, чтобы ихъ уничтожили. Ничего не было страннаго въ томъ, что я все это вытаскивалъ наружу и ту или иную изъ вещей прикидывалъ или даже примѣрялъ по себѣ; также и въ томъ, что одинъ изъ костюмовъ, приблизительно бывший мнѣ впору, я торопливо надѣлъ и, волнуясь отъ любопытства, побѣжалъ въ сосѣднюю комнату, предназначенную для пріѣзжающихъ, и прямо подошелъ къ узкому простѣлочному зеркалу, составленному изъ отдѣльныхъ, неровныхъ зеленыхъ стеклышекъ. Ахъ, до чего я дрожалъ въ своемъ костюмѣ и до чего было занимательно находиться въ немъ! На-

конецъ, выступая изъ мути стекла, что-то медленно стало приближаться ко мнѣ, гораздо медленнѣе, нежели приближался я самъ къ нему. Оно и понятно: само зеркало не вѣрило явленію и спросонья не желало повторить то, что ему предъявлялось. Но, въ концѣ концовъ, оно должно было сдѣлать это. И тогда отраженіе показалось мнѣ чѣмъ-то неожиданнымъ, чужимъ, совершенно инымъ, чѣмъ я ожидалъ, чѣмъ-то внезапнымъ, самостоятельнымъ, во что я торопливо вглядывался, чтобы въ слѣдующую же минуту не безъ нѣкотораго торжества все же узнать въ немъ самого себя; а это сознаніе находилось на волосокъ отъ полной утраты удовольствія. Но если въ этихъ случаяхъ я начиналъ точь-в-точь разговаривать, раскланиваться, дѣлать себѣ знаки, постоянно оглядываясь назадъ, то воображеніе до тѣхъ поръ оказывалось къ моимъ услугамъ, пока мнѣ это было угодно.

Тогда-то я узналъ, какое непосредственное вліяніе можетъ оказать костюмъ на человѣка. Едва я надѣвалъ одинъ изъ нихъ, какъ уже чувствовалъ, что нахожусь въ его власти, что онъ предписываетъ мнѣ мои движенія, выраженіе лица, даже фантазіи; рука, на которую то и дѣло спадалъ кружевной манжетъ, отнюдь не оставалась моей собственно рукой—она двигалась, словно актеръ, и мнѣ сдается даже, что она сама за собою наблюдала, хотя это звучитъ преувели-

ченіемъ. Однако, эти представленія никогда не заходили такъ далеко, чтобы я самъ себѣ становился чуждъ. Наоборотъ, чѣмъ многократнѣе дѣлались превращенія, тѣмъ болѣе я утверждался въ своей личности. Я становился все смѣлѣе и смѣлѣе, заходилъ все дальше и дальше, потому что мое умѣнье изображать разныхъ лицъ было внѣ всякаго сомнѣнія. Я не замѣчалъ искушенія въ этой быстро растущей увѣренности.

Для окончательнаго торжества судьбы нужно было, чтобы одинъ изъ шкафовъ, который, я думалъ, отпереть невозможно, въ одинъ прекрасный день поддался моимъ усиліямъ, и въ немъ, вмѣсто какихъ-нибудь опредѣленныхъ костюмовъ, оказалось всяческое маскарадное тряпье; его фантастическая неопредѣленность заставила кровь броситься мнѣ въ лицо. Чего тамъ только не было! Я помню, тамъ оказалось домино всѣхъ цвѣтовъ, женскія юбки, громко звенѣвшія отъ нашитыхъ монетъ; былъ костюмъ Пьеро, казавшійся мнѣ глупымъ, широкія турецкія шаровары и персидскія шапки, изъ которыхъ выпадали небольшіе мѣшечки съ камфарой, и короны съ тусклыми, невыразительными камнями. Ко всему этому я отнесся съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, до такой степени оно казалось мнѣ жалко фальшивымъ. Да и висѣли эти одѣянія, какія-то пустыя, убогія, а когда я ихъ вытаскивалъ на свѣтъ Божій, то они

какъ-то безвольно комкались. Но что привело меня какъ бы даже въ какое-то опьяненіе, такъ это широчайшіе бурнусы, и платки, и шали, и вуали, и большіе куски мягкихъ тканей безъ опредѣленнаго назначенія, вкрадчивыхъ, или же до того скользкихъ, что и удерживать ихъ трудно; или такихъ легкихъ, что они, словно вѣтерокъ, пролетали мимо; или же, наоборотъ, тяжело ниспадающихъ на полъ. Только благодаря имъ я дѣйствительно нашелъ возможность безконечно разнообразить свое перерожденіе—дѣлаться то невольницей, которую продаютъ, то Жанной Д'Аркъ, то старымъ королемъ, то колдуномъ... Все это теперь было возможно для меня, особенно потому, что здѣсь же находились и маски—большія, грозныя или удивленныя лица съ настоящими бородами и закругленными, поднятыми кверху, бровями. Я раньше никогда не видывалъ масокъ, но тутъ, съ перваго же мгновенія, понялъ, что должны существовать и маски. И я засмѣялся при мысли, что у насъ есть собака, которая держитъ себя такъ, словно на ней постоянно надѣта маска. Я представилъ себѣ добрые ея глаза, точно откуда-то изнутри выглядывающіе изъ ея волосатой морды. Я смѣялся, переодѣваясь, и вслѣдствіе этого совершенно забылъ, что собственно собрался изобразить. Все равно, будетъ одинаково ново и одинаково любопытно потомъ, уже стоя передъ зеркаломъ

отгадать, кого представляешь. Маска, которую я надѣлъ, до странности пахла пустотой и плотно прильнула къ моему лицу; не взирая на это, я прекрасно все видѣлъ. Уже надѣвъ ее, я началъ выбирать разные платки и наматывать ихъ на голову въ видѣ тюрбана, такъ что снизу края маски прикрывалъ желтый халатъ, а съ боковъ и поверху—шаль, и ихъ почти совсѣмъ не было замѣтно. Наконецъ, когда я уже болѣе не могъ навѣшивать на себя еще больше, то рѣшилъ, что достаточно закостюмировался. Схвативъ длиннѣйшую палку, я, насколько могъ, вытянулъ впередъ руку, и, постукивая ею, поплелся, какъ мнѣ казалось, не безъ достоинства, хотя и съ трудомъ, въ комнату для пріѣзжихъ и поправился, идя къ зеркалу.

И право же, я былъ такъ великолѣпенъ, какъ даже не ожидалъ. Зеркало моментально отразило меня, до того моя наружность была убѣдительно.

Было даже излишне дѣлать движеніе: даже когда я совсѣмъ не шевелился и то получалась прекрасная и цѣльная фигура. Оставалось узнать, что же я, въ сущности, представляю, и для этого я сталъ слегка вертѣться во всѣ стороны и, наконецъ, поднялъ обѣ руки: получилось движеніе величественное, точно заклиняющее и я догадался, что только оно и могло считаться

подходящимъ. Но какъ разъ въ этотъ торжественный моментъ я услыхалъ позади себя какой-то шумъ, состоящій изъ множества отдѣльных звуковъ, заглушенный надѣтымъ на мнѣ тряпьемъ. Отъ испуга я выпустилъ изъ вида существо въ зеркалѣ и убѣдившись, что нечаянно опрокинулъ небольшой, круглый столикъ, съ Богъ вѣсть какими, вѣроятно, очень хрупкими вещами, сильно разстроился. Съ великимъ трудомъ я кое-какъ нагнулся и убѣдился, что мои опасенія основательны,—повидимому, все бывшее на столикѣ раскололось. Оба ни на что не нужныхъ, зеленофарфоровыхъ попугая валялись на полу, конечно, порознь, разлетѣвшись на мелкіе куски. Крышка фарфоровой бонбоньерки, изъ которой конфеты, похожія на шелковистыя куколки наско-мыхъ, рассыпались, валялась вдали отъ нея, а кусокъ ея самой находился и вовсе неизвѣстно гдѣ. Досаднѣе всего было то, что одинъ флаконъ разлетѣлся на тысячу мелкихъ кусочковъ и остатки какой-то старой эссенціи разлились по полу и образовали на свѣтломъ паркетѣ отвратительное пятно. Я поспѣшилъ вытереть его чѣмъ-то свѣсившимся съ меня, но оно отъ этого стало еще чернѣе и еще непріятнѣе. Въ отчаяніи я поднялся на ноги и сталъ искать глазами чего-нибудь, что помогло бы мнѣ поправить бѣду. Но ничего не находилось. Кромѣ того, я былъ такъ стѣсненъ въ

ходьбѣ и движеніяхъ, что во мнѣ закипѣло бѣшенство противъ бессмысленности своего положенія, которое я пересталъ понимать. Я принялся терзать надѣтыя на себя вещи, но онѣ отъ этого еще плотнѣе обхватывали мое тѣло. Шнуры халата душили меня, а тряпье на головѣ до того давило, точно, мало-по-малу, его становилось все больше и больше. Къ довершенію всего, воздухъ вокругъ дѣлался какимъ-то мутнымъ, точно наполненнымъ туманомъ, вслѣдствіе испареній пролитой застоявшейся жидкости. Разгоряченный и гнѣвный бросился я къ зеркалу и съ трудомъ сквозь маску увидалъ, какъ работаютъ мои руки. Но онѣ только и ждалъ этого,—наступилъ моментъ возмездія. Въ то время, какъ я съ возрастающимъ смущеніемъ дѣлалъ неимовѣрныя усилія какъ-нибудь насильно высвободиться изъ своего переодѣванья, онѣ заставилъ меня, не знаю уже чѣмъ, поднять глаза и продиктовалъ изображеніе картины,—нѣтъ, дѣйствительности—чуждой, непонятной, чудовищной дѣйствительности, противъ воли пронзившей меня всего, потому что теперь уже онѣ былъ сильнѣйшимъ, а не я. Я уставился на этого ужасно громаднаго незнакомца и мнѣ казалось невозможнымъ оставаться съ нимъ вдвоемъ. Но въ тотъ моментъ, какъ мнѣ пришло это въ голову, случилось самое невѣроятное, я утратилъ всякое сознаніе самого себя, попросту, какъ-то исчезъ изъ

себя. Въ продолженіе какой-нибудь секунды я ощущалъ неописуемую болѣзненную и бесплодную тоску по самомъ себѣ, а потомъ остался уже только онѣ и ничего не было, кромѣ него.

Я бросился вонъ, но теперь уже онѣ мчался. я не я. Онѣ натыкался на все, домъ былъ незнакомъ ему, онѣ не зналъ дороги; Это онѣ попалъ на какую-то лѣстницу, въ какомъ-то коридорѣ полетѣлъ на кого то и повалился на земь вмѣстѣ съ тѣмъ лицомъ, и оно съ крикомъ освободилось изъ—подъ него. Распахнулась какая-то дверь сбиралось нѣсколько человѣкъ и, о Боже мой!—до чего было отрадно узнать ихъ. Въ числѣ ихъ находились Сиверсенъ, добрѣйшая Сиверсенъ, и горничная, и человѣкъ, которому на руки было сдано серебро; теперь все должно было разрѣшиться. Но они почему-то не подходили ко мнѣ, не спасали меня, ихъ жестокость не знала границъ: они стояли и покатывались со смѣху. Господи, какъ могли они только смѣяться! Я плакалъ, но маска не пропускала слезъ, они текли подъ нею по моему лицу и тутъ же высыхали, текли и снова высыхали... Наконецъ, я опустился передъ ними на колѣни съ такимъ чувствомъ, съ какимъ еще ни одинъ человѣкъ не опускался; я всталъ на колѣни, протянулъ къ нимъ руки и взмолился: «Вызволите меня изъ-подъ маски, если

возможно, и оставте меня самимъ собою», но они не слышали, голосъ у меня исчезъ.

Сиверсенъ до самой смерти рассказывала потомъ, какъ я упалъ навзничъ, а они все еще продолжали хохотать, думая, что это такъ нужно. Вѣдь, они привыкли къ разнымъ выходкамъ съ моей стороны; но когда я все продолжалъ лежать и не отвѣчалъ, они, наконецъ, убѣдились, что я во всѣхъ своихъ шаляхъ лежу безъ сознанія, точно кусокъ чего-то, совершенно какъ кусокъ.

Время летѣло невозможно скоро и вдругъ неожиданно оказывалось, что уже снова время пригласить въ замокъ проповѣдника доктора Есперсонъ. И тутъ то начиналось для обѣихъ сторонъ трудное и скучное времяпрепровожденіе. Привыкши къ обществу нашихъ весьма благочестивыхъ сосѣдей, ради чего всякій разъ совершенно отказавшись отъ своихъ привычекъ, докторъ чувствовалъ себя у насъ вовсе не на своемъ мѣстѣ, словно рыба, выброшенная на сушу и судорожно ловящая ртомъ воздухъ. Дыханіе жабрами, которое онъ развилъ въ себѣ, у насъ давалось ему съ трудомъ: на поверхности показывались пузыри и даже обнаруживалась нѣкоторая опасность. Темъ для разговоровъ—если говорить правду—не находилось вовсе: распродавали остатки по необычайно

низкимъ цѣнамъ, назначалась ликвидація всѣхъ товаровъ. Доктору Есперсону приходилось ограничиваться у насъ ролью частнаго лица, а именно имъ-то онъ никогда не умѣлъ быть. По его понятіямъ, онъ былъ приставленъ къ душамъ людей, а душа, по его мнѣнію, была общественнымъ учрежденіемъ, которымъ онъ завѣдывалъ, и находиться внѣ исполненія своихъ обязанностей онъ считалъ затруднительнымъ для себя, даже, ющаясь съ женой «своей скромной, вѣрной, дѣтрожденіемъ приобщающей къ блаженству, Ревеккѣ», какъ нѣкогда выразился Лафатеръ.

Впрочемъ, что касается отца, то его поведеніе по отношенію къ Богу было вполне корректно и безупречно-вѣжливо. Когда онъ въ церкви ждалъ извѣстнаго момента, чтобы склонить голову, мнѣ всегда представлялось, что онъ состоитъ егермейстеромъ у Господа Бога.

Матанъ, наоборотъ, вѣжливость по отношенію къ Богу казалась оскорбительной. Если бы она исповѣдывала религію съ опредѣленными и выработанными обрядами, для нея было бы блаженствомъ простаивать на колѣняхъ по нѣсколько часовъ подрядъ, а затѣмъ простираться на полу и осѣнять грудь и плечи неистовыми крестами. Въ сущности, она не учила меня молиться, но для нея было успокоеніемъ, если я охотно становился на колѣни и держалъ руки то со сложенными

пальцами, то сложивъ ихъ, какъ въ ту минуту мнѣ казалось выразительнѣе. Почти предоставленный въ этомъ отношеніи исключительно себѣ самому, я рано прошелъ нѣсколько стадій развитія, которыя лишь позднѣе, въ періодъ отчаянія, приурочилъ къ понятію о Богѣ, но дѣлалъ это такъ пламенно, что образъ Его, возникая въ моихъ мысляхъ, почти въ то же мгновенье и распадался. Ясно, что впослѣдствіи мнѣ пришлось продѣлать всю эту работу сначала. И тогда-то мнѣ иногда казалось, что въ этомъ мнѣ необходима помощь матери, хотя правильнѣе, конечно, было все переработать въ себѣ самомъ. Къ тому же, татап въ то время уже давно умерла*).

Въ присутствіи доктора Есперсона, татап иногда просто-таки начинала рѣзвиться. Она затѣвала съ нимъ разговоры, принимаемые имъ всерьезъ, а когда онъ начиналъ слушать самого себя, ей казалось, что это все, что надо, и она вдругъ совершенно забывала о немъ, будто онъ уже находился гдѣ-то очень далеко. «И какъ это только онъ можетъ»,—иногда говаривала она о немъ,—«разъѣзжать по домамъ и являться къ людямъ какъ разъ въ то время, когда они умираютъ».

Онъ навѣстилъ и ее, когда съ нею это случилось, только врядъ ли она видѣла его. Всѣ ея спо-

*) Въ рукописи это написано на поляхъ, начиная со словъ: „Впрочемъ, что касается отца“....

собности угасали, одна за другою, и раньше всего умерло лицо. Была осень и мы уже собирались переѣзжать въ городъ, когда она вдругъ заболѣла или, вѣрнѣе, сразу начала умирать; медленно, но безповоротно, умирать всею поверхностью тѣла. Приѣзжали доктора, а въ одинъ прекрасный день они собрались всѣ сразу и завладѣли всѣмъ домомъ. Нѣсколько часовъ онъ точно принадлежалъ тайному совѣтнику и его ассистентамъ, и мы всѣ какъ будто уже болѣе не имѣли права голоса въ немъ. Но послѣ этого у нихъ окончательно изсякъ всякій интересъ къ болѣзни татап, они стали наѣзжать лишь въ одиночку, какъ бы изъ вѣжливости, чтобы выкурить сигару и выпить стаканчикъ портвейну. А татап въ это время умирала.

Ждали единственного брата татап, графа Христиана Браге, который, какъ уже упоминалось раньше, нѣкоторое время находился на турецкой службѣ, гдѣ его, какъ увѣряли, весьма отличали. Въ одно прекрасное утро онъ явился въ сопровожденіи какого-то иностраннаго лакея и меня поразило, что онъ оказался выше отца и на видъ даже старше его. Они тотчасъ же обмѣнялись нѣсколькими словами, относившимися, какъ я полагаю, къ положенію татап. Наступила пауза, и потомъ отецъ прибавилъ: «Она очень измѣнилась».

Я не понималъ этого выраженія, но отъ него у меня пробѣжалъ морозъ по спинѣ. Я вынесъ впечатлѣніе, что и отцу пришлось пересилить себя, чтобы употребить его. Но, вѣроятно, сильнѣе всего при этомъ страдала его гордость.

Спустя нѣсколько лѣтъ я снова услышалъ разговоръ о графѣ Христіанѣ—было это въ Урнеклостерѣ и говорила о немъ съ особенной любовью Матильда Браге. Между тѣмъ, я увѣренъ, отдѣльные эпизоды его жизни она довольно свободно излагала; о жизни дяди и въ обществѣ, и въ семьѣ ходили лишь разные слухи, которыхъ онъ никогда не опровергалъ, вслѣдствіе чего они давали неограниченный просторъ фантазіи. Урнеклостеръ принадлежитъ теперь ему. Но никто не знаетъ, живетъ ли онъ тамъ. Можетъ быть, онъ по привычкѣ всѣ еще путешествуетъ; можетъ быть, изъ какой-нибудь отдаленной части земного шара какъ разъ находится въ пути извѣщеніе о его смерти, написанное рукою лакея-иностранца на плохомъ англійскомъ, а можетъ быть, и на совсѣмъ неизвестномъ языкѣ. А можетъ быть, этотъ лакей, оставшись одинъ, не подастъ никакой вѣсти; а можетъ быть, оба они уже давнымъ давно погибли и лишь значатся подъ непринадлежащими имъ именами въ пассажирскихъ спискахъ какого-нибудь затонувшаго парохода.

Когда во время моего пребыванія въ Урнеклостерѣ во дворъ въѣзжалъ какой-нибудь экипажъ, я каждый разъ ждалъ, что появится именно онъ, и сердце мое какъ-то особенно билось. Матильда Браге увѣряла, что онъ всегда является внезапно, когда менѣе всего ждали его—ужъ таково его обыкновеніе. Но тогда онъ такъ-таки и не явился, хотя мое воображеніе цѣлыми недѣлями было занято имъ и у меня было чувство, что мы обязательно должны стать другъ къ другу въ какія-то отношенія, и я былъ бы радъ узнать о немъ хоть чтонибудь положительное.

Но когда вскорѣ затѣмъ вслѣдствіе извѣстныхъ событий, мой интересъ окончательно сосредоточился на Христинѣ Браге, я, однако, какъ это ни странно, вовсе не старался узнать что-либо объ ея жизни. И, наоборотъ, меня очень беспокоила мысль, имѣется ли ея портретъ въ картинной галлерей замка. Желаніе убѣдиться въ послѣднемъ до такой степени завладѣло мною и мучило, что я не спалъ нѣсколько ночей подрядъ, пока въ одну прекрасную ночь—видитъ Богъ, что это такъ—не поднялся съ постели и не отправился въ галлерею. Свѣча въ моей рукѣ дрожала отъ боязни, но самъ я и не думалъ бояться; вообще я ни о чемъ не думалъ, а просто шелъ. Высокія двери, точно играя, легко поддавались моему напору и распахивались передо мною и надо мною, а комнаты,

по которымъ я проходилъ, держали себя чрезвычайно тихо. Наконецъ, по охватившему меня чувству глубины, я догадался, что достигъ галлерей. Я зналъ—направо находятся окна, преисполненные ночи, а слѣва—портреты. Поднявъ, насколько можно, выше свѣчу, я убѣдился—что они дѣйствительно тамъ находятся.

Сначала я рѣшилъ было разсматривать только женщинъ, но потомъ узнать одинъ портретъ, за нимъ и еще одинъ, изъ числа имѣвшихся и у насъ въ Ульсгаардѣ. Когда я снизу освѣщалъ ихъ, они точно начинали шевелиться, точно тянулись къ свѣту, и мнѣ казалось безсердечнымъ не выждать этого момента. Тутъ въ нѣсколькихъ видахъ находился Христіанъ IV съ прекрасно заплетенной косичкой и широкими, немного округленными щеками. Тутъ же, вѣроятно, были и его жены, изъ которыхъ я зналъ только одну Хрестину Мункъ; вдругъ на меня со стѣны подозрительно глянула Элленъ Моровинъ во вдовьемъ нарядѣ, съ ниткой жемчуга на бортахъ высокой шляпы. Были и дѣти короля Христіана: все свѣжіе ребята отъ разныхъ женъ. Дальше находилась несравненная Элеонора на бѣломъ иноходцѣ въ самое блестящее свое время, незадолго до смерти; Гильденлеве—Гансъ-Ульрикъ, о которомъ испанки говорили, что онъ румянится, до того много крови играло на его щекахъ, и Ульрикъ-Христіанъ, забытъ ко-

торого было невозможно, и почти всѣ Ульфельды; и тотъ, съ глазомъ замазаннымъ черной краской, вѣроятно Генрихъ Холькъ, въ тридцать три года сдѣланный рейхсграфомъ и фельдмаршаломъ; случилось это такимъ образомъ: по дорогѣ къ юнгфрау Гиллеборгъ Крафзе, ему приснилось, что вмѣсто невѣсты онъ беретъ въ руки обнаженный мечъ и это до такой степени запало ему въ душу, что онъ вернулся обратно и началъ свою короткую, безумную жизнь, окончившуюся чумой. Всѣхъ ихъ я зналъ, такъ же какъ и портреты членовъ конгресса въ Нимвегѣ, имѣвшіеся и у насъ въ Ульсгаардѣ. Всѣ они немного походили другъ на друга, потому что портреты съ нихъ писались со всѣхъ разомъ. Надъ чувственнымъ, почти высматривающимъ ртомъ, у всѣхъ нихъ были тонкіе, подстриженные усы. Что я сразу узналъ герцога Ульриха—само собою понятно, и Клауса Браге, и Отто Дао, Стена Розеншпорре, послѣдняго въ своемъ родѣ, потому что ихъ портреты я тоже или видалъ раньше въ залахъ Ульсгаарда, или находилъ въ старинныхъ папкахъ съ гравюрами.

Но помимо нихъ, здѣсь было много и такихъ, которыхъ я никогда не видывалъ раньше; женщинъ мало, но много дѣтей. Рука моя давно уже устала и дрожала, но я все продолжалъ поднимать свѣчу, чтобы разглядывать дѣтей. Я понималъ ихъ, этихъ маленькихъ дѣвочекъ съ птич-

ками на рукахъ, о которыхъ онъ точно забыли. Иногда у ихъ ногъ лежала маленькая собачка, или мячъ, а рядомъ, на столъ, всегда стояли фрукты и цвѣты; на фонъ какой-нибудь колонны изображался то небольшой, то средней величины, гербъ Груббе или Билле или Розенкранузъ. Зато вокругъ всегда нагромождалось столько всякой всячины, точно нужно было много, много чего-то заглядить. Они же просто стояли и ждали: что они ждали чего-то, было отлично видно. И тутъ я снова сталъ думать о женщинахъ и о Христинѣ Браге, и о томъ, узнаю ли я ее.

Мнѣ захотѣлось поскорѣе добѣжать до конца галлерей и уже оттуда начать поиски, какъ вдругъ я на что-то наткнулся. причемъ такъ круто повернулъ, что маленький Эрикъ отпрянулъ и прошепталъ: «Осторожнѣе со свѣчей».

— Ты здѣсь?—задыхаясь произнесъ я, не отдавая себѣ отчета, хорошо это или плохо. Въ отвѣтъ онъ только засмѣялся, и я не зналъ, что же будетъ дальше. Пламя его свѣчи колебалось, и я не могъ хорошо разсмотрѣть выраженія его лица. Кажется, было не хорошо, что онъ оказался здѣсь. Но въ ту же минуту, подходя ко мнѣ, онъ сказалъ: —Ея портрета здѣсь нѣтъ, мы все еще ищемъ его наверху—и своимъ единственно подвижнымъ глазомъ и голосомъ онъ показалъ куда-то наверхъ. И я понялъ, что онъ говоритъ о чердакѣ. Но вдругъ мнѣ пришла странная мысль.

— Мы?—спросилъ я:—Да развѣ она наверху?

— Да,—кивнулъ онъ и очутился рядомъ со мною.

— И она сама помогаетъ искать?

— Да, мы ищемъ.

— Слѣдовательно, портретъ ея убранъ отсюда?

— Да, представь себѣ!—сказалъ онъ возмущенно. Но я не понималъ, зачѣмъ онъ ей нуженъ.

— Она хочетъ увидеть себя,—шепнулъ онъ мнѣ совсѣмъ близко.

— Вотъ что!—отвѣтилъ я, дѣлая видъ, что понимаю. Но вдругъ онъ задулъ мою свѣчу. Я успѣлъ разсмотрѣть, какъ онъ весь перегнулся впередъ, въ полосу свѣта и высоко поднялъ брови. Потомъ наступила тьма. Я невольно отступилъ.

— Что ты дѣлаешь?—сдавленно крикнулъ я, и въ горлѣ у меня совсѣмъ пересохло. Однимъ прыжкомъ очутился онъ рядомъ со мною, взялъ подъ руку и захихикалъ.

— Да въ чемъ дѣлю?—набросился я на него и хотѣлъ стряхнуть его, но онъ крѣпко вцѣпился въ мой рукавъ. Я не могъ помѣшать ему обхватить мою шею рукою.

— Сказать?—прошепѣлъ онъ и брызнулъ мнѣ въ ухо слюной.

— Да, да скорѣе.

Я не сознавалъ, что говорю. Онъ уже совсѣмъ обнялъ меня, причемъ ему пришлось нѣсколько вытянуться.

— Я принесъ ей зеркало,—сказалъ онъ и снова захихикалъ.

— Зеркало?

— Да, потому что портрета-то, вѣдь, нѣтъ.

— Да, нѣтъ,—подтвердилъ я.

Онъ вдругъ потянулъ меня нѣсколько дальше къ окну и такъ сильно щипнулъ за руку, что я вскрикнулъ.

— Ея еще нѣтъ тамъ,—шепталъ онъ мнѣ на ухо.

Я невольно оттолкнулъ его, причемъ у него что-то хрустнуло, и мнѣ показалось, что я ему что-то поломалъ.

— Ахъ ты!—и я невольно засмѣялся.—Ея нѣтъ тамъ? То-есть, какъ это нѣтъ?

— Ты глупъ,—сердито оборвалъ онъ меня.—Перестань шептать—и его голосъ сразу перемѣнился, точно поставили новую еще неигранную пьесу.—Можно находиться или внутри,—строго, словно мудро диктуя, отчеканивалъ онъ,—но тогда не находишься здѣсь; или же, если находишься здѣсь, точно уже не можешь быть внутри.

— Конечно,—быстро отвѣтилъ я, не задумываясь. Я боялся, что иначе онъ уйдетъ и оставитъ меня одного, и даже ухватился за него.

— Будемъ друзьями?—предложилъ я.

Онъ заставилъ просить себя.—Мнѣ все равно,—дерзко отвѣтилъ онъ.

Я хотѣлъ, чѣмъ-нибудь закрѣпить начало нашей дружбы, но обнять его не рѣшился. Только выдавилъ изъ себя: Милый Эрикъ! и слегка дотронулся до него. Но вдругъ я почувствовалъ страшную усталость. Оглянулся и пересталъ понимать, какъ я могъ оказаться здѣсь и не бояться. Пересталъ соображать, гдѣ окна и гдѣ портреты, а когда мы пошли, Эрику пришлось меня поддерживать.

— Они ничего не сдѣлаютъ тебѣ,—великодушно увѣрялъ онъ и снова захихикалъ.

— Милый, милый Эрикъ! Можетъ быть, ты всегда былъ моимъ единственнымъ другомъ. Потому что у меня никогда ихъ не было. Жаль, что ты ни во что не ставилъ дружбы,—я бы хотѣлъ кое-что поразсказать тебѣ. Можетъ быть, мы бы и подружились, кто знаетъ! Я припоминаю, что тогда съ тебя писали портретъ. Дѣдушка кого-то выписалъ, чтобы писать его. Каждое утро по часу. Я не могу вспомнить наружности художника, имя его также забылъ, хотя Матильда Браге поминутно повторяла его.

Но видѣлъ ли онъ тебя такимъ, какимъ я вижу тебя? На тебѣ бархатный костюмъ цвѣта гелiotропъ; Матильда Браге была въ восторгѣ отъ него, но это не имѣетъ значенія. Я хотѣлъ бы знать, видѣлъ ли онъ тебя? Предположимъ, что

онъ былъ настоящимъ художникомъ; предположимъ, что онъ не думалъ, что ты можешь умереть раньше, чѣмъ онъ кончитъ свою работу; что онъ смотрѣлъ на дѣло безо всякой сантиментальности, и по просту работалъ; что его восхищала разность твоихъ карихъ глазъ; что онъ ни единого момента не стыдился неподвижности одного изъ нихъ; что былъ на столько тактиченъ, чтобы ничего не придвигать къ твоей рукѣ, слегка опиравшейся на столъ,—предположимъ наличность всѣхъ этихъ необходимыхъ для удачнаго портрета условий и разсудимъ... но, вѣдь, въ такомъ случаѣ этотъ портретъ существуетъ, твой портретъ въ галлерей Урнеклостера? Послѣдній фамильный портретъ...

Если пойти туда и разсмотрѣть всѣ портреты, то среди нихъ окажется изображеніе еще одного мальчика. Минуту: кого это? Одного изъ Браге. Видишь серебряный полъ на черномъ полѣ и павлиньи перья? Да тутъ и имя начертано: Эрикъ Браге. Какого-то Эрика Браге казнили? Конечно, это вездѣ извѣстно. Но тутъ изображенъ не онъ. Этотъ мальчикъ умеръ маленькимъ, все равно когда. Развѣ же не замѣтно этого?

Когда пріѣзжали гости и къ нимъ звали Эрика, фрейлейнъ Матильда Браге всякій разъ увѣряла, что онъ невѣроятно похожъ на старую графиню Браге, мою бабу. Объ ней говорили, что она была

очень важная барыня. Я не знавалъ ея. И, наоборотъ, я прекрасно помню мать, отца, настоящую хозяйку Ульсгаарда. Она оставалась ею всегда, хотя очень обижалась на тамап за то, что та вошла въ ихъ домъ въ качествѣ жены егермейстера. Съ тѣхъ поръ она постоянно дѣлала видъ, какъ будто ото всего удаляется и за всякими мелочами посылала слугъ къ тамап, тогда какъ въ важныхъ вопросахъ спокойно распоряжалась и рѣшала, никому и ни въ чемъ не отдавая отчета. Мамап, я думаю, и не желала, чтобы было иначе. Она была такъ мало создана для того, чтобы управлять большимъ домомъ и окончательно не умѣла дѣлить вещи на важныя и второстепенныя. Все, о чемъ ей говорили въ данную минуту, казалось ей главнымъ, и изъ-за него она забывала все остальное и оно оставалось нерѣшеннымъ. Она никогда не жаловалась на свекровь. Да и кому ей было жаловаться? Отецъ былъ въ высшей степени почтительнымъ сыномъ, а дѣдушка значилъ очень мало. Графиня Маргарита Браге, какъ я ее помню, была высокой недоступной старухой и, я убѣжденъ, старше камергера. Жила она среди насъ своей собственной жизнью, ни на кого не обращая вниманія и ни въ комъ изъ насъ не нуждаясь: при ней всегда находилась въ качествѣ компаньонки старѣющая контесса Оксе; когда-то бабушка чѣмъ-то облагодѣтельствовала ее и этимъ

безгранично привязала къ себѣ. Повидимому, этотъ случай былъ исключительнымъ, такъ какъ благодѣлать было не въ ея натурѣ. Дѣтей она не любила, а животныя не смѣли даже приблизиться къ ней. Ходили слухи, что еще совсѣмъ юной дѣвушкой она была помолвлена за красавца Феликса Лихновскаго, позднѣе лишившагося во Франкфуртѣ самымъ ужаснымъ образомъ жизни. И дѣйствительно, послѣ ея смерти у нея нашли портретъ князя, который, если не ошибаюсь, былъ возвращенъ его роднымъ. Мнѣ теперь часто приходитъ въ голову, что она изъ-за уединенной, сельской жизни въ Ульсгаардѣ, съ каждымъ годомъ становится все болѣе уединенной и болѣе сельской, лишилась блестящей, свойственной ея характеру доли. Трудно сказать, жалѣла она объ этомъ. Можетъ быть, она даже презирала самую жизнь за то, что та упустила случай быть прожитой умѣло и талантливо. Но свои мысли она прятала глубоко-глубоко въ себѣ, а сверху прикрывала ихъ разными оболочками, множествомъ оболочекъ, издававшими металлическій блескъ и дѣлавшими ее недоступной; самая же верхняя изъ нихъ казалась новенькой и прохладной. Иногда она все же выдавала себя, выказывая своего рода наивное нетерпѣніе по поводу того, что на нее не обращаютъ достаточно вниманія. Въ мое время, въ подобныя минуты, ей слу-

чалось, напримѣръ, за обѣдомъ подавиться, какимъ-нибудь черезчуръ необычнымъ образомъ, что привлекало къ ней участіе всѣхъ, по крайней мѣрѣ, на одну минуту дѣлая такой же интересной и сенсационной, какой ей хотѣлось быть всегда. Между тѣмъ, я предполагаю, что единственно мой отецъ относился серьезно къ подобнымъ, черезчуръ часто повторяющимся случайностямъ. Онъ вѣжливо наклонялся въ ея сторону и по всему было ясно, что онъ мысленно предлагаетъ и отдаетъ въ ея полное распоряженіе свое собственное дыхательное горло, находящееся въ полномъ порядкѣ. Понятно, что и камергеръ переставалъ кушать и маленькими глотками пить вино, но воздерживался отъ высказыванія какого бы то ни было мнѣнія.

Одинъ единственный разъ въ своей жизни, онъ за столомъ позволилъ себѣ отстаивать свою самостоятельность въ отношеніи своей супруги. Было это давно, но объ этомъ случаѣ не переставали втихомолку злобно шушукаться, причемъ неизмѣнно находился кто-нибудь, еще не слышавшій о происшествіи. Рассказывали, будто камергерша иногда просто-таки выходила изъ себя, если на скатерти по чьей-либо неловкости появлялись винныя пятна,—она обязательно замѣчала ихъ, выставляла, такъ сказать, на показъ и осыпала виновнаго самымъ грязнымъ порицаніемъ. И вотъ,

однажды, въ присутствіи нѣсколькихъ именитыхъ гостей, случилось, что она по поводу невинныхъ пятенъ разразилась градомъ насмѣшекъ и издѣвательствъ. Какъ ни старался дѣдушка заставить ее опомниться, дѣлая незамѣтные знаки и давая шутливыя реплики,—но она упрямо продолжала упреки. Однако, ей пришлось сразу оборвать ихъ, такъ какъ вдругъ случилось нѣчто небывалое и совершенно непонятное. Камергеръ приказалъ подать себѣ красное вино, какъ разъ обносившееся вокругъ стола и началъ внимательно самъ наполнять свой стаканъ. Но, странно, онъ почему-то не пересталъ лить вино даже и послѣ того, какъ стаканъ наполнился до краевъ. Тишина кругомъ все усиливалась, а онъ продолжалъ осторожно лить, пока тамап, никогда не умѣвшая удерживаться отъ хохота, громко не разсмѣялась и этимъ самымъ не положила конецъ инциденту. Потому что вслѣдъ за нею всѣ съ облегченіемъ подхватили смѣхъ, а камергеръ поднялъ глаза и отдалъ челоуѣку бутылку.

Позднѣе еще другая странность овладѣла бабушкой,—она не выносила, если кто-либо въ домѣ заболѣвалъ. Однажды, когда кухарка сильно порѣзала руку и она случайно увидала ее забинтованной, то стала увѣрять, что во всемъ домѣ пахнетъ іодоформомъ и ее было очень трудно убѣдить, что нельзя же изъ-за этого отказывать жен-

щинѣ. Она не желала, чтобы что-нибудь напоминало ей болѣзнь. Если кто-нибудь въ ея присутствіи обнаруживалъ хоть легкое недомоганіе, то она принимала это за личное для себя оскорбленіе и долго не прощала обиды.

Въ ту осень, когда умерла тамап, камергерша совершенно заперлась съ Софіей Оксе въ своихъ комнатахъ и прекратила всякое общеніе съ нами даже сына не принимала. Правда, это умираніе было совсѣмъ некстати. Въ комнатахъ было холодно, печи дымили и по дому разгуливали мыши, такъ, что нигдѣ нельзя было укрыться отъ нихъ. Но не это одно: Маргарита Браге, была возмущена тѣмъ, что тамап умирала и этимъ самымъ на очередь ставилось событіе, о которомъ она не желала говорить; возмущена тѣмъ, что молодая женщина осмѣливалась опередить ее, думавшую тоже когда нибудь умереть, но еще совершенно не рѣшавшую когда именно. О томъ, что ей придется умереть, она часто думала, но не желала, чтобы ее торопили. Она умереть, это несомнѣнно; но умереть, когда ей вздумается, а потомъ, конечно, остальные могутъ спокойно умирать, пожалуй, хоть одинъ вслѣдъ за другимъ, если имъ уже такъ не терпится.

Вполнѣ простить намъ смерть тамап она никогда не могла. Впрочемъ, на слѣдующую зиму, она и сама стала быстро старѣться. Ходила она

все еще прямо, но сидя въ креслѣ уже горбилась, и слухъ тоже притупился. Можно было по цѣлымъ часамъ сидѣть и прямо смотрѣть на нее, а она даже не замѣчала этого. Мысли ея, казалось, обращены на что-то внутри себя и обычно думы ея, витали гдѣ-то въ пространствѣ и она не владела ими. Лишь изрѣдка, и то не надолго, она приходила въ себя и тогда что-то говорила компаньонкѣ, поправлявшей на ней накидку, и большими, но чисто вымытыми руками, подбирала свое платье, точно на полу была пролита вода, или мы всѣ нечистоплотно вели себя.

Она умерла ближе къ веснѣ, въ городѣ, однажды ночью. Двери изъ комнаты Софьи Оксе въ ея спальню оставались открытыми и та ничего слыхала. Но когда утромъ она подошла къ кровати, она уже окоченѣла, какъ стекло.

Вслѣдъ за этимъ началась продолжительная и жестокая болѣзнь камергера. Было похоже, будто онъ только и ждалъ ея кончины, чтобы приняться за свое, столь мучительное для всѣхъ, умираніе.

Впервые я обратилъ вниманіе на Абелону годъ спустя послѣ смерти тамап. Абелона всегда была съ нами. Это ей сильно вредило. И кромѣ того Абелона была несимпатична; къ этому заключенію я пришелъ задолго раньше и ни разу

какъ-то не удосужился коротенько провѣрить свое мнѣніе, спросить же, въ какихъ, въ сущности, отношеніяхъ стоитъ къ намъ Абелона, мнѣ показалось бы тогда даже смѣшнымъ. Абелона была тутъ и ее эксплуатировали, какъ могли. Но однажды я себя спросилъ: да почему же она прикована къ намъ? Каждый изъ жившихъ у насъ занималъ опредѣленное мѣсто въ этой жизни, хотя и не всегда столь ясное, какъ, напр., назначеніе фрейлейнъ Оксе. Но зачѣмъ жила у насъ Абелона? Одно время у насъ заговорили о томъ, что ей слѣдуетъ развлечься. Но потомъ объ этомъ забыли и никто ничего не предпринялъ, чтобы разсѣять ее, а впечатлѣнія, что она сама развлекается, тоже что-то не получалось. Впрочемъ, Абелона обладала однимъ достоинствомъ—она пѣла; то-есть, бывали времена когда она пѣла. Она, несомнѣнно, отличалась сильной музыкальностью. Если правда, что ангелы мужского рода, то можно было бы сказать, что въ ея голосѣ было что-то мужское: сіяющая, небесная мужественность. Я уже ребенкомъ относился къ музыкѣ недовѣрчиво, не потому, что она сильнѣе всего остального отрѣшала меня отъ себя, но потому, что, какъ я замѣтилъ, она никогда меня не оставляла на томъ же мѣстѣ, на которомъ застигала, а вынуждала уйти гораздо глубже, куда-то туда, гдѣ все еще оказывалось совсѣмъ незримымъ.

Я выносилъ лишь музыку, на крыльяхъ которой можно было подниматься все выше и выше до тѣхъ поръ, пока не казалось, что уже находишься на небесахъ.

Я и не подозрѣвалъ, что Абелонѣ суждено открыть мнѣ и инья небеса.

Первое время наши отношенія заключались въ томъ, что она рассказывала мнѣ о дѣвической жизни тамап. Ей очень хотѣлось убѣдить меня въ томъ, что тамап была и молода и смѣла. По ея увѣренію, въ тѣ времена никто не могъ сравниться съ нею въ танцахъ и верховой ѣздѣ. — Она была самой смѣлой и какой-то неутомимой; а потомъ вдругъ, взяла да и вышла замужъ—говорила Абелона, точно все еще, по прошествіи столькихъ лѣтъ, удивляясь этому.—Случилось это до того неожиданно, что никто хорошенько даже и понять этого не могъ.

Я поинтересовался узнать, почему же она сама не вышла замужъ? Она казалось мнѣ сравнительно пожилой, а что она могла еще и теперь сдѣлать этотъ шагъ, мнѣ и въ голову не приходило.

— Не нашлось суженаго,—просто отвѣтила она и при этихъ словахъ даже похорошѣла. Да развѣ Абелона красива?—съ удивленіемъ спросилъ я себя. Потомъ меня отдали изъ дому въ дворянскую академію и для меня настало тяжелое и непріятное время. Когда товарищи предоставляли

меня на нѣкоторое время самому себѣ, я становился къ окну и смотрѣлъ на деревья въ эти минуты, да еще по ночамъ, во мнѣ выростала увѣренность, что Абелона красива. И я началъ писать ей письма, длинныя и коротенькія, множество разныхъ писемъ тайкомъ, въ которыхъ, мнѣ казалось, я говорилъ объ Ульсгаардѣ и о томъ, что я несчастливъ. Но теперь мнѣ думается, что, въ сущности, это были любовныя письма. Потому что, когда, наконецъ, настали каникулы, не наступавшія почему-то страшно долго, то мы съ нею, точно по уговору, рѣшили встрѣтиться не при постороннихъ.

Между нами не было ничего рѣшено, а между тѣмъ, когда экипажъ мой завернулъ въ паркъ, я не могъ удержаться, чтобы не выпрыгнуть изъ него; можетъ быть, даже просто потому, что не желалъ подѣзжать, словно посторонній, къ подѣзду. Лѣто стояло въ разгарѣ Я бросился на одну изъ боковыхъ дорожекъ прямо къ дереву «Золотой дождь». А тамъ оказалась Абелона... Чудная, чудная Абелона!

Я никогда не забуду, что я чувствовалъ, когда ты смотрѣла на меня. Ты точно боялась, что взоры твои соскользнутъ съ лица и чтобы удержать ихъ при себѣ, отклоняла его нѣсколько назадъ.

Ахъ, да не измѣнился ли тамъ въ то время даже климатъ? Развѣ отъ нашего пыла онъ не

сталъ мягче въ окрестностяхъ Ульсгаарда? Не цвѣтутъ ли тамъ въ паркѣ (нѣкоторыя розы и теперь еще болѣе продолжительное время, до самаго декабря)?

Я не стану ничего рассказывать о тебѣ, Абелона. Не потому, что мы обманулись другъ въ другъ; не потому что ты и тогда любила опредѣленно одного человѣка, котораго ты—вся любовь—никогда не забывала; а я любилъ вообще женщину... а потому что передавая—творишь несправедливость.

Здѣсь есть ковры, Абелона, стѣнные ковры. Я представляю себѣ, что ты здѣсь со мною; всѣхъ ковровъ шесть. Пойдемъ, потихоньку пройдемся мимо нихъ. Но сначала отступи на шагъ и посмотри на всѣ ихъ вмѣстѣ. Какіе они спокойные, не правда ли? Какъ мало въ нихъ разнообразія! На всѣхъ овальный, голубой островъ—медальонъ, словно повисшій на темно-красномъ фонѣ, усѣянномъ цвѣтами и населенномъ мелкими животными, занятыми собственной жизнью; и этотъ фонъ какъ бы удерживаетъ островъ отъ паденія. Только на послѣднемъ коврѣ, медальонъ будто слегка выступаетъ впередъ, словно становится легче. На всѣхъ медальонахъ изображена женщина въ различныхъ костюмахъ, но все же одна

и та же женщина. Иногда рядомъ съ нею находится вторая, болѣе мелкая фигура служанки; и всегда тутъ же, на островѣ, изображены звѣри, держащіе гербъ и этимъ самымъ какъ бы принимающіе участіе въ дѣйствіи; звѣри большіе,—слѣва левъ, а направо свѣтлый единорогъ. Они держатъ одинаковыя знамена, на которыхъ высоко надъ ними самими, виднѣются на синей перевязи краснаго герба три серебряныхъ, восходящихъ мѣсяца. Не правда ли, ты запомнишь все это? А теперь, если хочешь, начнемъ разсматривать первый коверъ.

Онѣ кормятъ сокола. Какъ великолѣпны ихъ одѣянія! На рукѣ затянутой въ перчатку, у нея сидитъ птица и шевелится. Она смотритъ на нее и въ то же время достаетъ какой-то кормъ для нея изъ чаши, что къ ней протягиваетъ служанка. Справа, внизу, на ея шлейфѣ, сидитъ маленькая собачка съ шелковистой шерстью и смотритъ вверхъ, надѣясь, что и ее не забудутъ. Обратила ли ты вниманіе на то, что островъ позади ихъ заканчивается низкой изгородью розъ?

На этомъ коврѣ геральдическія животныя воздымаются гордо, высоко. Гербъ, какъ мантией, облекаетъ ихъ. Чудный аграфъ сдерживаетъ ее. Вѣтъ вѣтерокъ.

Когда видишь, до чего женщина на слѣдующемъ коврѣ погружена въ собственныя думы, развѣ не

ступаешь невольно тише? Она плететъ вѣнокъ, маленькую круглую коронку изъ цвѣтовъ. Вплетая одинъ цвѣтокъ, она въ то же время задумчиво выбираетъ въ плоской корзинѣ, что держать передъ нею служанка, слѣдующую гвоздику. За нею на скамьѣ стоитъ полная корзина розъ; на нее не обращаютъ никакого вниманія и въ ней хозяйничаетъ обезьяна.

На этотъ разъ выборъ ея палъ на гвоздики. Во всемъ этомъ левъ не принимаетъ участія, но единорогъ, справа, какъ бы все понимаетъ.

Развѣ тебѣ не кажется, что такую тишину должна оглашать музыка и развѣ она уже не заключается въ ней? Въ тяжелыхъ одѣянiяхъ, съ тяжелыми украшенiями, она медленно (не правда ли, какъ медленно?) подошла къ переносному органу и, стоя, играетъ на немъ; ее отдѣляютъ отъ служанки, приводящей мѣха въ движенiе, трубы. Такой прекрасной она еще никогда не бывала. Волосы ея убраны какъ-то странно: заплетены въ двѣ косы и поверхъ головного убора взяты напередъ, такъ что концы ихъ походятъ на короткiй султанъ шлема.

Левъ разстроенный и недовольный, съ видимымъ усилениемъ переноситъ эти звуки: кажется, вотъ-вотъ онъ зарычитъ. Зато единорогъ прекрасенъ—онъ весь движенiе, словно волна.

Островъ расширяется. Раскинута палатка изъ

голубой парчи, затканной золотомъ. Звѣри поддерживаютъ полы ея, а изъ нея почти скромно выходитъ она въ княжескомъ одѣянiи. Потому что, что значать ея жемчуга въ сравненiи съ нею самой? Служанка раскрыла передъ нею небольшой ларецъ и она вынимаетъ изъ него цѣпь; тяжелую, чудную, драгоценную, до того остававшуюся подъ спудомъ. Маленькая собаченка сидитъ тутъ же на возвышенiи и смотритъ на нее. А разобрала ли ты надпись на краю палатки, сверху? Тамъ стоитъ: «*A mon seul désir*».

Но что случилось? Почему внизу прыгаетъ маленькiй кроликъ? Съ перваго же взгляда видно, что онъ именно прыгаетъ. Все кругомъ въ какомъ-то смятенiи. Льву дѣлать нечего—она сама держитъ стягъ. А можетъ быть, онъ держится за него? Другой рукой она ухватила за рогъ единорога. Что это—горе? Да развѣ горе можетъ держаться до того прямо? и развѣ траурное одѣянiе можетъ быть столь же скрытнымъ, какъ ея исчерна-зеленый бархатъ съ вялыми бликами?

Но потомъ наступаетъ празднество; никто не званъ на него. Ожиданiе тутъ не при чемъ. Все уже совершилось. Все и навсегда. Левъ почти съ угрозой оглядывается назадъ—никто не смѣетъ явиться. Намъ еще ни разу не пришлось видѣть ее усталой; да и устала ли она? или только поддалась, потому что въ рукѣ у нея что-то тяже-

лое,—можно подумать—дароносица. Но другую руку она протягиваетъ къ единорогу и польщенное животное становится на заднія ноги, а переднія кладетъ ей на колѣни. Она держитъ зеркало—видишь, она показываетъ единорогу его же изображеніе...

Абелона, я, вѣдь, воображаю, что ты здѣсь. Понимаешь, Абелона? Я думаю, ты поймешь.

Конецъ I части.

==